ISSN 1691-2845

Seminarium
Hortus
Humanitatis

АЛЬМАНАХ

57

Гарри Гайлит

Я живу в русском зарубежье. Четыре среза времени

Публицистика, эссе, литературная критика

Рига – Псков / 2020

SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS

«Русский мир и Латвия»

Альманах основан в 2004 г. в Риге Сергеем Мазуром

Ответственный за выпуск: Мазур Сергей Александрович

Корректор издания: Шинкарева Ирена Александровна

Редакционный совет:

Суриков Игорь Евгеньевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук (ИВИ РАН)

Чернов Леонид Сергеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии Уральского Института Управления РАНХиГС, г. Екатеринбург.

Гарри Гайлит – Я живу в русском зарубежье. Четыре среза времени. *Публицистика. Эссе. Литературная критика.* **Под ред. С. Мазура – Рига/Псков 2020.**

Электронная версия Альманаха на сайте http://seminariumhumanitatis.positiv.lv

ISSN 1691-2845
© Сергей Мазур

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Нукневич. Лично заинтересованный. Вместо предисловия.....с. 5-6

Срез первый. МИР БЕЗ МИРА

Глобалисты и глобализация.....с.7-14
Массовая культура и массовый человек.....с.15-17
За интеллигенцию – обидно!.....с. 18-20

Срез второй. Я ЖИВУ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Русский человек в Латвии – он в гостях или дома?.....с.21-26
Не будите спящую собаку. Мои основы интеграции.....с.27-31
«Наш пароход отходит в светлое прошлое…».....с.32-34
Русский коллапс.....с.35-37
Русский синдром.....с.38-39

Срез третий. АПОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ

Купи ребенку Жюля Верна!.....с.40-45
Чем книга лучше, или Что такое четвертое измерение.....с.46-51
Солнце всходит на востоке, или Психофизика книжного бизнеса с.52-56
Вавилонская башня.....с.57-58
Была жара….....с.59-60

Срез четвертый. ЛЮДИ И КНИГИ

Птица Феникс с моноклем на черном шнурке. (Петр Пильский).....с.61-65
Георгий Иванов и его мемуары.....с.66-67
Божий человек и поэт от Бога. (Надежда Павлович).....с.68-70
Мистификации Набокова, или По другую сторону добра.....с.71-75
Лолита, которая гуляет сама по себе.....с.76-78
Весь Газданов как на ладони.....с.79-81
Марк Алданов и его книги.....с.82-84
Мата Хари советской поэзии, или Кем на самом деле была Лиля Брик.....с.85-87
Триумфы и падения Аксенова.....с.88-94
Мужской роман Анатолия Гладилина.....с.95-99
Синдром Фауста, или Петля для диссидента. (Людмила Улицкая).....с.100-101
Энтомологические экзерсисы Бориса Акунина, или Почему детям не надо читать его «Детскую книгу».....с.102-106
Слабоумный роман Саши Соколова.....с.107-109
Как француз нас на девочек развел. (Фредерик Бегбедер).....с.110-112
Над кем смеется Мона Лиза. (Дэн Браун).....с.113-115
В поисках Шекспира – последний фигурант.....с.115-120

Гарри Гайлит.
Фотография П.Т. Тюрина.

Лично заинтересованный

Вместо предисловия

Людимила Нукневич

Коль скоро главный герой этого издания сам автор – его размышления, его вопросы, предпочтения, оценки, – для начала несколько слов о нем самом.

Гарри Гайлит. Литературный и театральный критик. Член Союзов писателей Латвии и России, член Союза театральных деятелей Латвии.

Выпускник филологического факультета Латвийского государственного факультета. Работал библиографом в Науч-ной библиотеке ЛГУ и в Национальной библиотеке, переводчиком в газете «Советская Латвия», театральным обозревателем в газете «Бизнес&Балтия». Печатался в разных латышских и едва ли не во всех местных русских СМИ. Переводил латышскую прозу.

В 1988 году вышла его первая книга – сборник критических статей «Полет пчелы, сон и пробуждение», в 2014-ом – книга воспоминаний «Мальчик на дельфине».

Словом, личность в республике и, что называется, в культурных кругах более чем известная. Но…

Беда, однако, с этим Гарри. Очень неудобный он человек, и, соответственно, автор тоже. Любую полит- и прочую вежливую корректность, столь, по расхожему мнению, свойственную прибалтам, он ни в грош не ставит. Готовности изменить, встроиться в чужое мнение, если ветер подует со стороны, обратной прежней, уже комфортной, от него не жди. Скорее поступит ровно наоборот: опять и опять перманентным сопротивлением станет вызывать огонь на себя.

Феномен почти дежурного «возмутителя спокойствия» отчасти объясняется, на мой взгляд, местными особенностями. Не в чести у нас, особенно в русской среде, полемика, споры, звон мечей и кимвалов, словесных публичных баталий. Некому звенеть, нечем и незачем?.. Хотя, говорят, в спорах рождается истина. Ну, для кого рождается, а для кого-то – мимо. Потому мимо, что недосуг, потому что лениво. И, по мнению заезжих гостей, у нас тут, тишь да гладь, спокойная чистая красивая Рига, бескрайние поля-луга-леса и… и болота. Что совсем неподалеку от столицы, под Кемери, например, и ходят туда за клюквой и чудодейственными травами разве что бесстрашные старушки, знающие безопасные тропы, и где, однако, растут, как на всяком болоте, цветы невиданной красы, легко взлетают в полете пугливые косули и порхают дивные бабочки. Болото завораживает, и оно же – затягивет. В прямом и переносном смыслах.

Вот это болото ненавистно Гарри Гайлиту. Естественно, не как природное явление и полезная, в общем-то, экосистема. Болото как устойчиво-привычное, вялотекущее состояние умов и души. И он раз за разом бросает вызов ему. Вызов и зов – к барьеру! И очень огорчается, когда в ответ – тишина. Потому чаще тишина, что дискутировать с Гарри, с его, что называется, культурным багажом, основательной проработкой необходимых для будущей публикации и возможной дискуссии материалов, с жесткостью его оценок, тут мало кому под силу. Хотя, понятно, всякая жесткая структура по определению уязвима. Тем не менее, раз за разом Гайлит швыряет камень, и болото, пусть на время, в очередной раз всколыхнется, раздражится на возмутителя

его покоя. Гайлит, подозреваю, в таких случаях удовлетворенно потирает руки, сочтя задачу момента, если угодно – миссию, удачно исполненной. И пусть себе болото потом займется своим привычным делом – камень точит. Автор все одно пишет так, словно бы от его слова – камня – что-то напрямую зависит. Но ведь и в начале было Слово, и русский мир вряд ли все же в ядре своей сущности перестанет быть литературоцентричным, Слово-центричным.

Статьи, вошедшие в его книгу, были написаны в разные, в том числе и в достаточно удаленные годы. Любопытно, что с течением лет, несмотря на явное ускорение времени, и, соответственно, стремительность перемен, они не утратили злободневности. Чем не своего рода тест на точность попадания в тему?

А тем этих у Гарри пруд пруди. От проблем, скажем, глобализации и современной демократии до того, какие книжки читать или не читать ребенку. И над всем этим, как благословение свыше, его действительно преданная любовь к Слову и Культуре.

С Гарри Гайлитом можно в чем-то – или во многом – не соглашаться. Ну и что?.. Именно этого он и добивается.

Срез первый

МИР БЕЗ МИРА

Глобалисты и глобализация

Мудрец сказал, если живешь в век перемен, ничему не удивляйся. Другой мудрец сказал, я живу, когда мыслю. Но мыслить и значит – удивляться. Впрочем, сейчас все так переменилось, как меняется климат, когда на Земле начинают смещаться полюса.

Удивляться поздно. Надо действовать.

Мир благоденствия требует жертв

Когда-то мы надеялись, что, покончив с холодной войной, сразу заживем, как западные демократические страны, и будем наслаждаться свободой и благополучием. Но вместо этого завершение холодной войны вызвало неожиданную цепную реакцию. Действительно, государственные границы распахнулись: поезжай, куда хочешь. Но тут же оказалось, что мы вступили в эпоху «номадизма», т.н. современного кочевничества. Правы оказались теоретики глобализации, предрекавшие, что «горизонты третьего тысячелетия сорвут людей с насиженных мест, превратят их в кочевников и разрушат все устоявшиеся традиции».

Существует даже такая теория, что европейская цивилизация «засиделась в девках». Новые западные ценности, сформировавшиеся на просторах Америки, стремительно распространятся на весь мир. Они не только сделают человека сверхмобильным и сотрут границы, но и разрушат старую культуру, а вместе с ней и наше самосознание.

Безобиднейшая на вид идея мира без границ оказалась на деле чреватой далеко идущими последствиями. Нам первым делом внушили, что надо жить только по закону и ни в коем случае не по понятиям. Это значит – исключить из своего обихода все наши моральные и нравственные представления. Дескать, теперь все разрешено, что не запрещает закон.

Но жить так совсем не просто, хоть и заманчиво. С одной стороны, основные западные ценности, вылившиеся в расхожие формулировки «жизнь – это высшее благо, но деньги важней», «успех определяет все», «возлюби самого себя» – обещают материальное изобилие и личное благополучие. Но помноженные на бесконечное мотание по свету, они рождают стремление уйти от моральной ответственности, а по сути «убежать от самого себя», от неприятных проблем личного характера. Потому что дальше начинается простая психология. Поставив себя за рамки нравственных понятий и моральных запретов, мы оказываемся не способными справиться с душевной разбалансировкой. Нам угрожает одиночество, внутреннее беспокойство и непреодолимая агрессия. Стремясь спастись от них или хотя бы отвлечься, деловой человек (делец, бизнесмен, предприниматель) обрекает себя на нескончаемые посещения не нужных ему презентаций, приемов, журфиксов и на разные вычурные забавы, например, махануть на Тайланд или в Париж, чтобы заказать там себе костюм. Лишь бы не проводить досуг наедине с самим собой.

Есть Запад и есть Восток

От таких осложнений и угроз мир европейской культуры, в основе своей христианский, был надежно защищен. Особенно это касалось приверженцев православной культуры с ее кодексом чести, взаимовыручки и коллективизма. Философ Александр Панарин объясняет эту разницу весьма интересно: демократия восточного типа исторически сложилась на нравственно-религиозной основе, заимствованной у Византии, тогда как США свою философию западной демократии выстроили на рационалистическом механизме языческого Римского права. Отсюда вся разница.

Отменив тоталитаризм, мы на самом деле упразднили не что иное, как вот эту нравственно-религиозную основу. В результате теперь уже не государственное устройство, а сам человек стал тоталитарно агрессивен. Причем настолько, что, лишившись прежнего поведенческого стереотипа, он в обычных житейских ситуациях больше не считает нужным свою агрессию сдерживать. В этом и кроются причины резкого роста преступности как на бытовом, житейском уровне, так и на уровне государственно-чиновничьем.

Почему, например, на всем постсоветском пространстве так бурно развилась коррупция? Потому что и предпри-ниматель, и чиновник почувствовали неогра-ниченную свободу. В чем тут дело?

Еще Иммануил Кант говорил, что государство – это объединенная чувством ответственности и долга совокупность людей. Такие совокупности людей нормально существовали, пока более, чем полвека назад – в 1948 году – ООН не приняла Всеобщую декларацию о правах человека. Тогда еще трудно было представить, что права и свободы, предоставляемые человеку как индивиду, очень скоро вытравят из его сознания все наработанные им за тысячелетия понятия о долге и ответственности перед государством. Тогда еще было в силе гегелевское определение свободы как осознанной необходимости.

Теперь о необходимости любого толка забыли, и свободу понимают как независимость от интересов государства и народа. Коррупция по сути дела стала в этих условиях нормой – точно такой же, как в некоторых европейских странах взятка. Иногда и у нас уже взятку пытаются юридически определять как оплату за услуги чиновника. Вот и получается, что все взятки гладки. Все можно «цивилизованному человеку», живущему не по понятиям, а по Декларации о правах, в которой забыли прописать его обязанности.

На основе этой Декларации сложились и современные западные ценности, и психология либерализма, провозгласившая нигилизм по отношению к правам самого государства и к гражданскому долгу перед этим государством.

«Стряхнуть градусник»

Теперь мы имеем то, что имеем. Несколько лет назад в Германии на Немецком экономическом конгрессе была провозглашена полная свобода бизнеса в глобальных масштабах. Конгресс объявил устаревшими, «подвергшимися эрозии», а потому отмирающими, все традиционные социальные институты, которые могли бы этот бизнес ограничивать (церковь, профсоюзы, политические партии и пр.). Таким образом с помощью новых западных ценностей на дальнейшее были определены наиболее благоприятные для бизнеса правовые и нравственные условия.

Очень сильно расширила свободу бизнеса и прошедшая в конце XX века в разных странах кампания за отмену смертной казни. Наивно полагать, что философия современного либерализма, отвергающая само понятие о гуманизме и о гуманном

отношении к кому бы то ни было (т.е. требующая жить не по понятиям), стала бы из гуманных соображений ратовать за отмену смертной казни как меры наказания за вопиюще противозаконные действия. Тут сработали соображения совсем другого рода. Важно было «стряхнуть градусник». Отмена смертной казни сразу резко снизила и порог ответственности за преступления, и за нарушение законов экономического характера. А часть из них вообще автоматически была выведена за рамки юридической ответственности.

Эта кампания проводилась исключительно ради оптимизации условий развития бизнеса и предпринимательства – вот ее истинная цель. В результате оказались выведенными из зоны общественного порицания практически все виды стяжательства, многие разновидности жульничества и вообще любые формы извлечения наживы. Это привело к победе бизнеса над властью и государством. В парламенты всех стран широко стали проходить предприниматели, торговцы, банковские служащие, домовладельцы, чтобы свободно и открыто отстаивать свои узкокорпоративные интересы. Вот почему сегодня на государственном и негосударственном уровне больше никого не волнуют проблемы потребителя, то есть простого народа. Главное теперь – прибыль бизнесмена. Он налоги платит. И никому уже не объяснишь, что такая смена приоритетов аморальна.

Парадоксы о демократии

Если наличие в общественной системе элементов морали и нравственности рассматривать как признаки ее качественности, то надо сказать, что наш демократический мир свое качество теряет. Объяснить это можно с помощью двух парадоксов.

Парадокс первый. Мир как целое – детерминирован и совокупен, поэтому все в нем связано в целостную систему причин и следствий. Все упорядоченно. Демократия, наоборот, – это апофеоз индивидуальности с ее независимостью и свободой от любой целостности и совокупности. Это распадение целого на части, которые хотят существовать автономно. Таким образом, демократия разрушает слаженную систему, разлагая ее на хаотично существующие составные части. Демократия и порядок исключают друг друга. Демократия берет верх над порядком, способствуя этим возникновению хаоса. Ну, а мир как хаос – качественно проще и, следовательно, примитивнее мира как системы. Значит, он – некачествен. Получается, что демократия способствует деградации общества. А деградация общества как раз и начинается с отмирания морали и нравственности.

Косвенно с этим связан и разрыв между красотой и добром. Никто больше теперь не говорит, что красота спасет мир. В новых условиях она агрессивна, брутальна. Понятие красоты, оторванное от христианских представлений, теперь, в сущности, противоположно добру.

В этой же связи нельзя не привести еще один парадокс о демократии. Распределив на условной прямой известные нам общественно-экономические системы, мы на противоположных ее концах увидим демократию и фашизм. Но история развивается не по прямой, она повторяется, словно идет по кругу. Образуем и мы из прямой окружность – что получится?

Демократия и фашизм окажутся рядом. И это верно, потому что разделяют их всегда нормы морали и нравственности. Так что важны на самом деле далеко не только права человека и свободы, но и его чувство долга и ответственности за то, как он ими распоряжается. Недаром на Западе вот уже несколько лет серьезно думают над тем, что в приложение к Всеобщей декларации о правах настало время выработать и декларацию об ответственности и гражданском долге.

Сорос против Сороса

Первым публично об этом заговорил самый известный «архитектор» открытого общества и свободного рынка финансист Джордж Сорос. Он издал книгу «Новый взгляд на открытое общество»*, в которой впервые подробно написал о деталях необходимой ревизии западных ценностей.

Философию открытого общества он назвал устаревшей, а современный капитализм – грабительским. Потому что сегодня, когда холодная война давно завершилась, либерализм со всеми своими принципами начал оказывать на западный мир разрушающее действие.

Бумеранг возвращается, считает Сорос. Культ успеха, философия индивидуализма и неограниченной свободы были хороши как оружие против советской системы, пишет он в своей книге. Сегодня либеральные ценности необходимо пересмотреть, срочно надо провести их ревизию, «иначе они разнесут в щепки наше открытое общество», превратив человека в уродливый придаток к финансовой машинерии.

В числе нынешних врагов открытого общества Сорос называет многие установки либерализма и, в частности, «спущенный государством с поводка чрезмерный индивидуализм». Лозунг «выживает сильнейший» он считает не просто архаизмом, но и извращением. Мир бизнеса в своем интеллектуальном развитии на сегодняшний день настолько отстал, что оперирует давно устаревшими понятиями и представлениями. Этому способствуют и низкая политическая культура, и отсутствие идеологической выучки у современных управленцев.

Приведу совершенно убийственные слова Сороса на этот счет: «Рыночные ценности теперь способствуют подрыву традиционных ценностей. Культ успеха вытеснил веру в принципы. Общество сорвалось с якоря».

* Сорос Джордж. Новый взгляд на открытое общество. – М.:Магистр, 1997. *Здесь и далее прим. ред.*

Стерилизация культуры

Геббельсу приписывают слова: «Когда я слышу слово культура, у меня рука тянется к пистолету». У многих господ этот рефлекс работает и сегодня.

Культура у нас уже давно не в чести. Вместо нее мы при необходимости говорим о досуге, свободном времени, хобби и прочих вещах. Даже родственный культуре лексикон начисто вымыт из нашего языка. На газетных полосах его заменил лубок. Просторечие, попса, язык улицы стали предпочтительней грамотной речи. Сегодня журналисты и вообще весь пишущий люд стараются не утомлять читателя, не заставлять его, бедного, лишний раз напрягать свои благородные извилины.

Что случилось? Образованный читатель закосил под простолюдина?

И да, и нет. Таким его хочет видеть политическая элита и ее окружение. Поглупевшим, опустившимся, с примитивным, неразвитым самосознанием и упрощенным воображением. Ну, а вдохновляющие и направляющие ее, эту политическую элиту, идеологи глобализма даже разработали целую программу «игры на понижение» и назвали ее «упрощением жизни».

Согласно этой программе сегодня все должно быть несложным и простым, как мычание быка. Мысли, отношения, мораль и язык. Серьезная фундаментальная наука нам больше не нужна – только прикладная, ее вполне достаточно. Культура и религия – тоже.

Нашей новой религией стало уподобление себя продвинутой Европе. Но где же мы тогда были раньше, разве не в Европе? Имея передовую науку, лучшее в мире образование и высокую культуру, признаваемые всем западным и не только западным цивилизованным миром.

Но не надо лезть в бутылку, дело тут совсем в другом. Красивые слова о Европе, цивилизации и демократии – это шелуха, яркая обертка, а то и вовсе внешняя сторона того, что имеет вполне определенное название, но только для посвященных. Речь идет о все том же открытом обществе. О понятии для большинства настолько мало или вообще не знакомом, что о нем предпочитают не распространяться.

Если я назову работу Карла Маркса «Капитал», все сегодня поймут, что речь пойдет о социализме или даже коммунизме. А вот что представляет собой двухтомный труд западного социолога Карла Поппера «Открытое общество и его враги»*, знают немногие. Хотя прочесть его давно могли бы и, пожалуй, должны были все.

Книга Поппера – это катехизис современного либерализма и демократии. Прочитавших ее можно считать «инициированными», то есть посвященными, как называют вступивших в масонскую ложу. Именно с подачи Поппера либералы так много говорят сегодня о правах и свободах человека, о демократии и новом либерализме, но – это стоит отметить особо – не снисходят до того, чтобы дать этим понятиям конкретные и исчерпывающие дефиниции. Потому что, во-первых, сегодня произошла замена не только ценностей, но и смыслов, значений, объяснять которые себе дороже станет. А во-вторых, все эти понятия, даже такие, как демократия, рыночные отношения, свобода слова, после чудовищного теракта в США 11 сентября 2001 года уже превращаются в архаизмы даже в США. Остались только слова, которые используют теперь во всем мире в качестве паролей, чтобы «свояк свояка видел издалека».

Сегодня в открытом обществе уже

работают новые смыслы, новые законы и новые требования. Они отвечают установкам и задачам глобализма и «нового мирового порядка». Мы, т.е. Латвия, вступили в НАТО почему? Потому что НАТО является единственной в мире военной гарантией существования открытого общества. ЕС – это гарантия экономическая. А глобализация, считающаяся теперь уже делом решенным и неизбежным, – ее политическая составляющая. Все вместе эти три гарантии обеспечат нам истинную свободу и истинную независимость.

Два этих слова – свобода и независимость – произносятся постоянно, но опять никто не поясняет, что имеется в виду. Зачем? Пусть каждый понимает, что они значат, в силу своих способностей, так даже удобней.

Между тем, и свобода, и независимость в открытом обществе тоже понимаются совсем иначе, чем мы привыкли думать.

---

*Карл Поппер. Открытое общество и его враги. В 2-х тт.— М., 1992.

Предполагается, то есть имеется в виду, во-первых, независимость любого индивида от правовой системы государства (отсюда неписанное правило – нарушай закон умеючи, не посягая на государственную власть, и все будет о`кей), а во-вторых, – свобода от окружающего сообщества людей, от долга и обязанностей по отношению к этому сообществу (т.е. возлюби себя больше, чем ближнего своего). И вот тут нам пора вернуться к вопросу о том, почему сегодня культура оказалась в роли постылой падчерицы.

Дело в том, что сознаем мы это или не сознаем, но мы уже живем в условиях открытого общества. Об этом свидетельствует наличие четырех главных обстоятельств – свободного рынка, демократии, философии индивидуализма и управляющего всеми и вся прагматизма. Не хватает для полного и окончательного торжества открытого общества только самой малости – вычеркнуть из нашего обихода культуру в любых ее проявлениях. Зачем – это мы сейчас поймем.

Культура – главный враг открытого общества

В чем разница между обществом открытым и закрытым, например, тоталитарным?

В закрытом обществе человек живет и работает не столько для себя, сколько в интересах своей семьи и государства. В нем каждый является в том или ином смысле человеком государственным и выполняющим свой патриотический долг.

Философия открытого общества напрочь отвергает систему ограничений и табу закрытого тоталитарного общества – его верования, идеи, запреты, каноны, традиции, авторитеты. Все, что ограничивает свободу человека и подчиняет его какой бы то ни было внешней силе, будь то идеология, вера в бога, альтруизм, любовь, дружеские и даже родственные отношения. Все, что не представляет практической пользы, объявляется предрассудками. А мыслители прошлого – великие гуманисты, проповедовавшие ценности христианского гуманизма, – они вообще откровенно шельмуются как самые ярые «враги открытого общества».

Его философия проповедует неограниченную свободу действий, мыслей и поступков для каждого своего члена. Она категорически против сохранения любых запретов, догм и канонов. Весь духовный опыт человечества отвергается как не имеющий никакой практической ценности, как путы для свободного человека.

Понятно поэтому, чем и почему не угодила открытому обществу культура. Носителями запретов, как известно, являются мораль и нравственность. Догмы проповедуются религиями. Ну, а каноны, художественный вкус, эстетические нормы формируются искусством, музыкой и литературой. Что касается литературы, она особенно ненавистна открытому обществу – в силу своей специфики именно литература была носителем и распространителем вируса «традиционалистских идей мыслителей прошлого».

Отказываясь от культуры, открытое общество назначает исполнителями ее функций масс-медиа и масскульт. Они имеют прикладной характер и совершенно безопасны, потому что вместо идей и идеалов распространяют голую информацию и развлекают публику. Именно это и необходимо человеку открытого общества, когда он отдыхает от бизнеса.

Философия открытого общества – это философия личного успеха и преуспеяния индивида, философия лавочничества. Открытое общество навязывает новые правила игры, в которой все определяют деньги. Деньги при этих правилах игры превращаются в высшую ценность, которая выше даже человеческой жизни. Вот потому культуре и противостоит сегодня все, что стимулирует прибыль, с одной стороны, и потребление, с другой, а также способствует благоденствию отдельно взятого человека.

Кто кого – идеалисты или прагматики?

В укреплении позиций открытого общества огромную роль играет процесс глобализации. Наивно думать, что явление это исключительно экономическое. На самом деле это один из изощреннейших механизмов, назначение которого – свести жизнь человека к простым составляющим, а его мышление – к уровню рядового бизнесмена. Образно говоря, промыть мозги для последующей их супермаркетизации. И тут тоже большой помехой выступает культура.

Прямую войну культуре как врагу открытого общества объявлять неэффективно. Культуру топчут сейчас в СМИ все, кому не лень, а толку от этого не так уж много. Гораздо успешней использовать разные обходные маневры, и их становится все больше. Один из них заключается в подмене понятий и смыслов. Вместо культуры теперь все заговорили о цивилизации. Тут сразу становится не нужной вся структура духовно-нравственных критериев, и на первое место выдвигается стоимостная ценность материальных изделий. Культура, как известно, являет собой в основном духовные достижения человечества, тогда как понятие «цивилизация» подразумевает его утилитарно-техническое, материальное развитие.

Большой вред нанесла и так называемая демократизация культуры. В чем она проявилась? С одной стороны, в коммерциализации. В результате этого роль цензуры теперь стали играть деньги. С другой стороны, понизились все пороги требовательности и упал профессиональный уровень. На смену мастерам и талантам пришла посредственность, случайные люди. Это способствовало тому, что «высокая культура» была переведена на рельсы культуры массовой. Большую роль в этом сыграл и постмодернизм, задачей которого опять-таки было «стряхнуть градусник» - изменить наше восприятие и возвеличить в качестве «героя дня» человека низкого, падшего и порочного.

Но самым действенным, повторю, стало простое и, на первый взгляд, вполне даже логичное требование жить не по понятиям, а по закону. Никого не интересует, что это приемлемо только для западного, рационалистичного ума. Для русского человека, воспитанного на идеях и идеалах христианского гуманизма и православной культуры, это как нож к горлу. Вся система его духовных ценностей и ориентиров смывается как мощным цунами. Ведь что значит жить только по закону? Это значит – игнорируя все нравственные понятия, подчинить свою жизнь исключительно требованиям правовых регламентаций. Которые часто, кроме всего прочего, имеют вообще корпоративный характер, потому что принимались они узким кругом тех, кого мы назвали «посвященными», т.е. адептами открытого общества. А это уже прямой путь к криминалу, потому что в основе тут лежат чисто прагматические соображения и ничего больше.

Вот мы и пришли к этому сакраментальному слову – прагматизм. Сегодня мы оказались участниками самого яростного противостояния между идеалистами и прагматиками. От того, кто в нем выстоит, зависит многое. Правда, вряд ли оно в обозримом будущем закончится чьей-либо победой. Мне тут вспоминается история с Юлием Цезарем. Он не раз разбивал силы британцев, но победить их так и не смог. В конце концов он с сожалением констатировал: «Эти безрассудные люди никак не хотят понять, что они побеждены». Развернул войска и ушел восвояси.

Массовая культура и массовый человек

Фабрика грез и все такое прочее

Просветители несли культуру в массы не одно столетие. Потом массам это надоело, и они сами пошли походом на культуру. По-научному это означает состояние, обратное переходу количества в качество. Так появился масскульт. Культура элитарная не сошла на нет, но оказалась на обочине. До маргинальной ей остается один шаг, потому что многие ее современные носители и создатели – сами уже в маргиналах.

Иногда можно услышать нагловатый вопрос – кому теперь нужна эта элитарная культура? И в самом деле, зачем нам эта канитель: культовый роман прошлого века «Мастер и Маргарита» мы считаем элитарным, а художественный фильм, снятый по тому же роману, – масскультом. Чем же одно отличается от другого? Тем, что кинофильм можно посмотреть за несколько часов, а на чтение романа понадобятся дни?

Нет, конечно. Отличие в другом: свой роман Булгаков писал в стол, а кинофильм сделан на продажу. В этом почти вся разница. Булгаков свои коронные фразы придумывал, как говорится, в муках творчества, а снявший кинофильм Бортко их только растиражировал. Впрочем, разговоры о том, что элитарная культура никому не нужна, потому что она не нужна даже современной элите, тоже уместны. Эта элита сама довольствуется масскультом, и ничего другого ей не надо. Выходит, какова элита, такова и культура?

Да нет, вот уж это совсем не так. Неверно думать, что элитарная культура создавалась для элиты, как неверно и то, что масскульт – это культура для масс. Обе эти культуры не родственны, а противоположны, потому что элитарная создавалась вовсе не для какой-то там загадочной элиты, а элитными, то есть отборными мастерами. Тогда как масскульт, можно сказать, сделан руками самих масс, или, как называли его создателей в прежние времена, ремесленниками и подмастерьями. Пройдет десяток лет, и их забудут, как, между прочим, за десять лет забываются сами шедевры масскульта, а элитарная культура служит вечно.

Хотите узнать об этом подробней, загляните в справочник «Энциклопедия альтернативной культуры»*. Там, в частности, сказано: «Масскульт – это термин, созданный для обозначения коммерческого, легкомысленного культурного продукта во всех жанрах. Синонимы – кич, ширпотреб, попса, мейнстрим, гламур. Включает в себя индустрию развлечений, шоу-бизнес, фабрику грез, конвейер звезд – т.е. все, кроме настоящего искусства и литературы».

Остается выяснить, что же мы считаем настоящим искусством и почему, собственно, в масскульте – все ненастоящее?

Ненастоящее – потому что мы живем в век эрзаца, в век подделок, лжи и фальши. Когда даже хорошо знакомыми нам словами уже называют совсем не то, что мы раньше имели в виду. И происходит это не само по себе, а как раз потому, что нам так велит массовая культура.

Музыка для всех, кто лишен слуха

Правда, надо признать, что масскульт вполне имеет право быть. Один почтенный ученый, философ Валентин Толстых даже говорит, что он относится к масскульту с уважением. В смысле толерантно. А куда денешься, если это – реально существующая, а вовсе не придуманная кем-то данность. Масскульт окружает нас всюду, как воздух. Приходится с ним жить, но при этом надо уметь различать, чем масскульт плох и чем хорош.

Передо мной – брошюра под названием «Массовая культура: за и против?»** В ней содержится стенография беседы питерских интеллектуалов о массовой культуре. В беседе прозвучала любопытная мысль, что, дескать, искусство всегда защищало человека от враждебной ему действительности…

Может быть, масскульт тоже призван нас от чего-то защищать?

Во второй половине прошлого века, то есть в советское время, когда окружающая нас действительность была не так агрессивна, как нынешняя, и не такими сложными казались отношения в обществе, мы ей – этой действительности – противопоставляли качественное искусство и хорошую литературу. Мы читали тогда таких непростых писателей, как например Фолкнер, Воннегут, Кафка… Возможно, теперь, когда Кафка стал нашей явью, наш мозг нуждается в духовной пище более легкой?

Допущение интересное, но есть версия гораздо проще. Согласно ей, мы были самой читающей страной в мире только потому, что книги нам заменяли настоящую жизнь. Сейчас нам этого уже не надо. Мы считаем, что теперешняя жизнь гораздо увлекательней искусства, и потому для развлечения мы вполне можем обходиться массовой культурой.

Впрочем, все это совершенно не объясняет сущности масскульта – откуда и зачем он появился. Есть, кстати, еще одно мнение: деловая жизнь сегодня настолько сложна и отнимает у нас так много времени и сил, что отдыхая, нам хочется чего-нибудь такого, что бы не давило на извилины. Высокая культура от наших новых потребностей слишком далека, поэтому и стал востребованным масскульт.

А вот действительно глубокая мысль: масскульт расцветает в эпохи, когда нарушается «смысловая иерархия». Когда ломаются все тоталитарные, то есть навязываемые нам кем-то сверху ценностные ритуалы и системы, а опирающаяся на них культура теряет смысл. Тон тогда начинает задавать возникающая в разрушенном смысловом пространстве низовая культура.

На смену культурному человеку, жившему в рамках смысловой связности, в этих условиях приходит новый индивид, живущий исключительно своими личными делами и не способный соотносить их с «целокупным представлением о мире». В результате массовая культура не истолковывает нам нашу жизнь, как это делала культура классическая, а просто отвлекает от этой жизни.

Приведу еще парочку определений, прозвучавших в той же беседе. Мне понравилось такое: массовая культура – это музыка для не имеющих слуха.

И еще: «…все экзистенциальные вопросы массовая культура выдает нам в виде некоторых упрощенных ответов, в то время как настоящее искусство занимается только постановкой таких вопросов».

---

*Альтернативная культура. Энциклопедия / Сост. Д.Десятерик. Екатеринбург, 2005

** Массовая культура: за и против / Фонд русской словесности – Рига, 2003.

Это уже, действительно, интересно. В таком случае получается, над ответами на все вопросы человек должен размышлять сам. Что, кстати, по-настоящему демократично, хоть и происходит такой поиск ответов в условиях диктатуры упомянутого выше «смыслового пространства». И наоборот: «выдача некоторых упрощенных ответов» масскультом – это чистой воды тоталитаризм. Потому что они нам навязываются. Что же мы в результате такого рассуждения имеем? Выходит, масскульт по своей природе – культура фашистская?...

В чем корни масскульта

Похоже, мы тут зашли в логический тупик, т.к. не удосужились уточнить главное – что культуру нельзя полностью отождествлять с искусством и литературой. Культура – это прежде всего наше отношение к ним. Или, если перевести на язык современного потребительского общества, – это то, как мы научены искусством и литературой пользоваться.

Масскульт напротив такое отношение разрушает, потому что меняет все наши ценностные ориентиры. Эта деформация ценностей случается каждый раз в связи с глубоко скрытым процессом, когда низовая культура выходцев из села (несущих в города свою сельскую культуру) стремится потеснить культуру городскую. (Не тут ли спрятаны и корни масскульта?). Впрочем, кто-то по схожему поводу правильно заметил, что гибель Рима произошла не столько из-за военного превосходства варваров, сколько от падения духовных основ империи и ее культуры.

Самое скверное в масскульте то, что он взращивает посредственность и связанную с нею усредненность интересов. Если искусство и культура пробуждают надежды и мечты, то масскульт способен только раздразнить нашу меркантильность и низкие желания. Главная его функция – развлекать, чтобы увести в сторону от жизненно важных проблем, тогда как элитарная культура как раз ради их решения и существует.

Настоящее искусство свободно, поэтому и нас оно наполняет мощной энергетикой творческого поиска, а массовое наоборот – служит средством оболванивания. Навязывая систему общепринятых стандартов жизни, масскульт насаждает зависимость от ширпотреба и потакает нашим низменным страстям. Чем, собственно, и отбивает всякую охоту к творчеству, превращая человека в недееспособного иждивенца.

Масскульту сегодня вменяется совершенно определенная конкретная задача – разрушить защитно-ценностную систему потребителя. Снизить, сбить до минимума градус его интеллектуальных требований и предпочтений. А затем бросить армию таких оболваненных масскультом людей в супермаркеты, чтобы они там безоглядно скупали товары, удовлетворяя свои потребительские страсти. И тем самым позволяли нашим толстосумам беспрепятственно набивать деньгами свои карманы.

За интеллигенцию – обидно!

В последние годы в либеральном задоре мы стали неточно и потому неверно интерпретировать многие слова. Так, в частности, поверхностно отнесясь к тому, что такое интеллигенция, участники дискуссии о ней, опубликованной в журнале «Балтийский Мир»*, совершенно исказили смысл и значение этого понятия.

Кстати, такое случалось и прежде. Этим словом по старой советской традиции у нас в Латвии почему-то любят называть публику, не имеющую к интеллигенции ровно никакого отношения. В результате делаются далеко идущие выводы и совершенно искажается истинное положение вещей.

Открывший дискуссию латвийский политик Мирослав Митрофанов, например, вообще позволяет себе циничное высказывание, что, дескать, у нас сегодня «заткнулся голос «совести нации». Интеллигенция мертва, национальная в том числе. И, – запальчиво восклицает он, – в этом факте я не вижу причины для сожаления».

Мало того, что Митрофанов здесь путает интеллигенцию с элементарно образованной публикой, а нацию с национальностью, он еще и латышей смешивает с русскими и выступает в роли могильщика на похоронах того, что не способно умереть. Интеллигенция либо есть, либо ее нет, а чего нет, умереть не может.

Когда говорится об интеллигенции как о «совести нации», всегда имеется в виду русская интеллигенция и русская нация, объединяющая людей разных национальностей на основе общего языка, общей территории проживания и общей для них русской культуры. Что касается национальной, то есть латышской интеллигенции – таковой просто нет в природе, и никогда не было. Это оксюморон, созданный старой советской номенклатурой.

Тот же Митрофанов утверждает, что хоть интеллигенции больше нет, ее функции тем не менее кем-то выполняются. Даже не знаю, как назвать такой странный вираж. Не логичней ли допустить, что, коль уж функции интеллигенции по-прежнему выполняются, значит, она не умерла? Я мыслю, значит, я существую – разве не так?

Думаю, вообще следует полагать, что интеллигенция была, есть и будет, пока жив русский язык. Любой психолингвист может подтвердить, что в самом русском языке заложен образ русской культуры и тип мышления русского человека. Потому что и то, и другое, и третье (т.е. русский язык, культура и тип мышления) проявляют себя как результат критического осознания бытия или, говоря проще, критического отношения к окружающему миру.

Не знаю почему, но такова уж ментальность – или фортуна? – интеллигентного русского человека, постоянно чувствующего дефицит справедливости, – мыслить критически. По иронии судьбы он полвека прожил в условиях «гегемонии пролетариата», хотя на самом деле русский человек относится нетерпимо к любой гегемонии. Он может внешне смириться с какими угодно условиями существования, но внутренне не любит позволять им над собой довлеть. Противление насилию посредством интеллектуального сопротивления и внутренней свободы духа, то есть выражение своего пристрастия к справедливости – вот что отличает интеллигентного человека от неинтеллигентного, добровольно соглашающегося быть рабом обстоятельств.

Древние говорили – не сотвори себе кумира. Сегодня интеллигенцию называют «религиозным орденом с отрицаемым богом». Здесь есть над чем задуматься.

---

*Балтийский Мир. 2010, № 01

Лев Аннинский, когда его спросили, не является ли интеллигентный человек хроническим оппозиционером, который всегда «против», очень верно заметил, что «интеллигент – вовсе не «человек, который против». Он может быть и «за». Но только не под давлением! Не ради выгоды или пользы, а исключительно по своей душевной воле».

«Душевная воля» и есть как раз то, что не позволяет смешивать русскую интеллигенцию с западными и новыми русскими интеллектуалами, с одной стороны, и, с другой, с правозащитниками-диссидентами. Первые, особенно западные интеллектуалы, отличаются от интеллигенции тем, что, благодаря своей же интеллектуальной деятельности, существуют в достаточно комфортных условиях и свою социальную роль видят в том, чтобы сделать для себя эти условия еще лучше. Никакого душевного дискомфорта при этом они не испытывают. Вторые наоборот постоянно склонны либо к терактам, либо к актам политического протеста.

Интеллигенция – это другое. Она не обвиняет и не протестует. Она просто не приемлет то, что не отвечает ее принципам и ценностям. Но не демонстративно или вызывающе, а исключительно внутренне. Не бряцая скрижалями с нацарапанными на них государственными законами, которые почему-то не соблюдаются государством. И не крича о своем несогласии в микрофоны на площадях, а лишь отстраняясь, уходя в тень. Потому что интеллигенция совсем не должна «светиться» на пикетах, митингах и демонстрациях. Она даже морального права на это не имеет. У нее совсем другая, более важная, охранительная функция. Назначение интеллигенции, как это было когда-то у древних жрецов, оберегать культуру и передавать ее следующим поколениям. Именно эту функцию она сегодня стоически продолжает выполнять.

У русской интеллигенции нет и не должно быть никакой стратегии, программы политической деятельности и даже позиции. Зато у нее есть совесть, тот самый пепел, который стучит в сердце Клааса – это нравственное наследие предыдущих культур. Интеллигентность в данном случае – это память о культурном опыте предыдущих поколений и стремление его сохранить.

Интеллигенция всего-навсего заставляет нас жить по совести, и больше ничего. Потому ее и называют «совестью нации». Все упреки или пожелания в ее адрес, высказываемые участниками дискуссии в «Балтийском Мире», совершенно безосновательны. Например, относительно каких-то не принимаемых важных решений – интеллигенция не принимает решений и ничего никогда сама не решает. Тут все иначе. Это всего лишь та нравственная сила, с которой приходится считаться совершенно другим людям, – именно тем, кто (во власти) такие решения принимает. Власть, если она хочет избежать ошибок, должна на интеллигенцию постоянно оглядываться.

С другой стороны, не случайно считается, что интеллигенция, пришедшая во власть (как это было в начале 90-х), сразу теряет свой статус и перестает быть интеллигенцией. У нее замыливаются глаза, она уже не видит леса, потому что лес видно издалека, а вблизи видишь только отдельные деревья.

Уже не раз говорилась одна очень важная вещь: интеллигенция – это русское понятие. Понятие, которое не распространяется на другие национальности, но объединяет всех, кто интеллектуально и духовно живет в ареале русской культуры. Поэтому неправомерно говорить о какой-то другой «национальной интеллигенции». Вообще, интеллигенция и национальность – слова в литературном языке никогда рядом не употребляющиеся. Поэтому не совсем ясно, что имеется в виду, когда в «Балтийском Мире» речь идет о прибалтийской интеллигенции. Дело в том, что, когда применительно к культуре разговор идет об эстонцах, литовцах или тех же латышах, речь всегда только о них. Тогда как, говоря о русской культуре и интеллигенции, мы кроме русских включаем сюда и евреев, и казахов, и грузин, и тех же латышей с эстонцами и литовцами. Русская интеллигенция – не этническое, а социокультурное понятие.

Говорить о некой «латышской интеллигенции» вообще нелепо. Этими словами

в Латвии всегда почему-то называлась публика, не имеющая никакого отношения к интеллигенции. Хотя бы уже потому, что она, эта публика, изначально нацеливалась и затем вся либо вошла во власть, либо стала ее надежной опорой, защитницей и единственным инкубатором кадров. Какая же это интеллигенция?

Тогда уж, учитывая, что в большинстве своем это дипломированные специалисты в основном гуманитарного профиля, их лучше считать на западный манер интеллектуалами. Все они нацелены на выполнение государственных установлений, на непротивление власти и соблюдение прав, но не прав человека, как диссиденты-правозащитники, а своих гражданских прав.

В Латвии наличествует только русская интеллигенция. Но она, в отличие от российской, в еще большей степени уходит в тень в силу реальных угроз и политических притеснений по национальному признаку. Другой интеллигенции здесь нет. А та часть населения, русского и не русского, о которой идет речь в «Балтийском Мире», - представляет собой всего-навсего публику, которой в советское время была предоставлена неограниченная возможность получения вузовского образования. И эта возможность была реализована. Но ни социально, ни морально эта публика не была подготовлена к тому, чтобы стать местной интеллигенцией. Авторы «Балтийского Мира» ее так называют по старой советской привычке считать интеллигентами всех, кто носит на голове шляпу и вузовские корочки в кармане.

Слой интеллигенции в социальном пироге местного (и не только местного) населения всегда был тонок. Потому его и называли прослойкой. Сейчас, в силу разных обстоятельств, он вообще малозаметен. Но это вовсе не позволяет говорить о том, что из-за плохих материальных условий интеллигенция деградировала и «ушла к браткам».

В условиях нынешней материальной и духовной нищеты интеллигенция худо-бедно, но по-прежнему держит марку. Ей это больших трудов не доставляет, в смысле – ей не привыкать. Потому что и в более обеспеченные, стабильные времена, вот уже на протяжении почти ста лет, начиная с революции 1917 года, русская интеллигенция, за исключением небольшого количества особо привилегированных лиц, всегда была одной из самых низкооплачиваемых категорий населения. Так как всегда, во все времена считалась властями ненадежным и ненужным балластом.

Но и на рожон она старалась не лезть. Не растрачивая понапрасну себя на бурные и демонстративные внешние проявления, русская интеллигенция сохранила былой потенциал для поддержания более или менее достойного уровня русской культуры. Поэтому я предлагаю особо не беспокоиться разным доброхотам по поводу ее смерти. Слухи эти преждевременны и вздорны. Интеллигенция не умерла. Жива она. Жива.

Срез второй. Я ЖИВУ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Русский человек в Латвии – он в гостях или дома? Этот вопрос девяностых годов некоторым не дает покоя до сих пор. Скорее всего, потому, что не каждый знает, как к нему подступиться. Я в этой связи вот что вспомнил…

Русский человек в Латвии – он в гостях или дома?

Давно и недавно

В свое время мне пришлось перелистать немало русских газет, выходивших в Риге в 20-30-е годы прошлого века. Так вот, я не помню, чтобы на их страницах мне попадались такие популярные сегодня слова как национальное достоинство, идентичность, интеграция или оккупация. Хотя русских уже тогда в Латвии было много – как-никак они начали селиться на этой земле еще в XI веке.

В довоенное время в русской среде говорили совсем о другом – об эмиграции, самосознании, культурной автономии. Что касается нынешних демократических ценностей, с ума по ним тогда еще не сходили, и тем не менее русский человек чувствовал себя в Латвии куда уютнее, чем сегодня. Несмотря даже на то, что был период, когда на службе в государственных учреждениях разговаривать на русском ,языке возбранялось.

Впрочем, если посмотреть шире, проблемы в русском зарубежье – не только в Латвии, но и в других местах русского расселения – были в принципе те же, что и сегодня. Только тогда относились к ним иначе.

Русский человек всегда был силен чувством собственного достоинства. В этом отношении кого ни возьми, будь то Бунин, Набоков, Бродский, Солженицын или тысячи других русских эмигрантов, многие из них могут послужить нам сегодня примером. С той лишь разницей, что мы, живущие в Латвии, никуда не перемещались, но тем не менее в одночасье тоже оказались в русском зарубежье. С нами произошли перемены не столько политического, сколько психологического характера. Для русского человека в Латвии резко изменился психологический климат и социальный статус. Возникла пресловутая проблема интеграции. Но… это только так говорят, что интеграция в латышское общество, на самом деле – в общество западное.

С другой стороны, это процесс естественный (не считая, конечно, совершенно анекдотичного культа госязыка). Важно правильно понимать его сущность и тактически верно к нему относиться. Без истерических, стрессовых всплесков; опять же с чувством собственного достоинства.

Курс – на Запад?

Русский человек – так уж сложилось исторически со времен еще князя Владимира – человек православный. Почему Россию стали называть третьим Римом? Потому что православие считалось изначально верой, от которой позднее отделилось католичество, а затем и протестантство. Каждая из этих конфессий формирует свой жизненный уклад. Православный человек вряд ли когда-нибудь станет жить, как это навязывается на Западе, только по закону. Русскому человеку свойственно жить и по закону, и по понятиям. Это, собственно, и раздражает Запад (корни русофобии тоже в этом), но такова особенность и даже установка православного мышления. Если хотите, такова русская ментальность, а менталитет, как известно, не переделаешь.

То же самое касается и интеграции. Она немыслима для русского человека, если осуществляется как ассимиляция. Ведь, по сути, интегрироваться – значит войти в другое общество, сохранив в целости и сохранности свою культуру. Для русского человека и речи быть не может об утрате даже части своего самосознания или того, что сегодня называют своей идентичностью. Он может лишь согласиться на приобретение чего-то дополнительного. Это всегда было свойственно для русской эмиграции, осталось нормой и сейчас. Вот почему сегодня с таким противостоянием русские в Латвии встречают все, что касается ущемления прав русского языка. Это вопрос их личного достоинства. И проявляется оно в форме ненасильственного сопротивления, что для русского человека тоже – норма. Потому что ему не только чужда, но и незнакома психология раба.

Другое дело, как это обставляется в СМИ. Тут даже у русских авторов случилась некоторая заминочка и разнобой мнений. А все потому, что произошла (причины опустим) очередная подмена понятий и даже нравственных ори-ентиров, что характерно вообще для нашего мышления с тех пор, как мы провозгласили «курс на Запад». Новые понятия просто принимаются, не осмысливаясь, а уж о со-отнесении их с прежними и говорить нечего. Совершенно не учитывается и то, что русский человек практически не способен жить только по закону, не корректируя его нравственными понятиями. Это, во-первых. А во-вторых, о ненасильственном сопротивлении рассуждают сейчас лица, недостаточно четко представляющие себе, что это такое. То, что они провозглашают ненасильственным сопротивлением, для русского человека всегда было постоянным состоянием ума. Только это иначе называлось – оппозицией власти, активным непослушанием и, наконец, «внутренней эмиграцией»… Словом, в каждой ситуации – иначе, но всегда имелось в виду отрицание авторитета властей (не путать с государством). Так называемое национальное достоинство русского человека в этом и состоит. Противопоставление себя властям – главная составляющая чувства собственного достоинства русского человека (в то время как для латыша оно заключается, наоборот, в солидарности с властями).

Язык мой – клад мой

Нет ничего удивительного и в реакции русских на ущемление свободы русского языка. С одной стороны, такое ущемление не что иное, как нарушение прав человека, а с другой – все вполне естественно. Опасней для общества было бы безоговорочное принятие навязываемых норм распространения его употребления. Потому что это означало бы только одно – деморализацию русского языка.

Осознание необходимости оберегать язык – одно из условий сохранения своей идентичности. Здоровый ум понимает, что богатства родного языка – те же клетки живого организма. Любое посягательство на язык равносильно перерождению клеток, которое ведет, как известно, к образованию злокачественных опухолей с летальным исходом. Так что все просто в этом мире и сопоставимо. Язык скрепляет народ. Притесняют сегодня русский язык русофобы, и исключительно для того, что разобщить ненавистный им свободолюбивый народ.

Фольклор, искусство, литература, формирующие самосознание человека, – это производные родного языка и составляющие национальной гордости. Правда, национальность тут совершенно не причем. В России до 1917 года вообще практиковалось деление не по национальному признаку, а по вероисповеданию. Национальность приобрела значение позднее, когда церковь отделили от государства. Теперь нам предстоит опять вернуться к вероисповедному принципу, чего очень не хотят политики. Это им невыгодно. Национальные проблемы, как бы искусственны и надуманы они ни были, помогают политикам скрывать истинные корни и причины всевозможных политических решений. Но достаточно нам определиться с вероисповеданием, как, если не все, то многое предстанет в совершенно другом свете.

Если для кого-нибудь сложно решить, что ему ближе – православие или, скажем, католицизм, – задайте себе простой вопрос: какое Рождество как народный, а не только религиозный праздник, вам доставляет больше радости. То есть какое вам ближе – русское или европейское Рождество? – и все станет на свое место. Дело тут не в вере как таковой, а в христианском гуманизме – эти две вещи надо уметь различать. Можно не быть верующим, но все равно никуда не денешься от того, что мы росли, воспитывались и получали образование в атмосфере, определяемой христианской шкалой ценностей. И именно это, а не национальность, определяет наши человеческие качества.

Где твой Бог?

Здесь мы подошли к еще одной особенности. Русский человек, как уже говорилось, в массе своей – человек православный. А православие – наиболее консервативная из христианских ветвей, оно во многом не приемлет нормы и установки западной демократии. Поэтому русские, вернее Россия как страна православного вероисповедания испытывает сегодня такое сильное идеологическое давление Запада со всех сторон. Не только в Прибалтике, но и в остальных регионах, где хоть некоторое время практиковалось православие. В Латвии, между прочим, русское православие существует примерно столько же веков, сколько и в России.

В процентном отношении, если сложить православных верующих с теми неверующими, которые выросли на православной культуре, они составят в Латвии почти 50 процентов населения. Тогда как лютеран здесь – 27,6 процента, католиков 18,8, а остальных – 4,1 процента*

Вот и идет между ними «междоусобная» война. Сегодня мы говорим – борьба за демократию, а историки будущего, возможно, определят ее иначе – как борьбу за конфессиональное влияние. Потому что во всем этом есть еще одна тонкость.

Православная вера исключает свободу личности в ее западном, протестантском толковании. Для русского человека Бог всегда – вне его, над ним, как организующее, сплачивающее начало. Лютеране мыслят иначе: они носят Бога «в себе». Отсюда – западный индивидуализм, отсюда же и гегелевская формула «свобода как осознанная необходимость». Поэтому свободный человек на Западе и регулирует свою жизнь, исходя из этой самой «осознанной необходимости». В то время как человек русский склонен считать, что демократия (в западном понимании) и порядок несовместимы. Не здесь ли скрыт механизм всех нынешних политических и неполитических конфликтов?

---

*Автор приводит статистические данные на момент написания статьи. По данным 2016 года лютеране составляли 35 процентов от всех жителей Латвии, на втором месте по числу верующих – православные, на третьем – католики.

Косой взгляд в «богатую спину»

Ну, а что касается идеологического прессинга, наиболее ярко он у нас проявляется в «языковых проблемах». Это крупный просчет местных политиков. Они хотят сломать то, что ломке не поддается, а лишь еще острее ставит другую проблему. Вынужденный защищать свой родной язык, русский человек еще больше утверждается в мысли, что Латвия – его дом. Основание тут простое и историкам религии хорошо известное: православие неистребимо там, где оно существует хоть какое-то количество лет. И там, где оно прочно утвердилось, русский человек всегда будет чувствовать себя дома, оберегая его.

Еще пару слов о ненасильственном сопротивлении. Тут тоже есть любопытные нюансы. Человек, которому, как говорится, нечего терять, кроме своих цепей, может, конечно, пойти и на крайние меры. А вот для тех, кому есть что терять, спектр возможных действий намного шире и действенней. Да и необходимость отстаивать это свое достоинство у них тоже острее. Надо только учитывать, что ненасильственное сопротивление и противостояние произволу властей – это не всегда и вообще, как правило, не конфликтные действия, а совсем другое. Главное здесь переломить ситуацию и навязать свои правила игры. Политических и, особенно, гуманитарных форм для этого существует бесчисленное множество. Вплоть до самых простых и неожиданных. Например, создание структур, которые не позволяли бы человеку бедствовать и прозябать в нищете. Ведь это для нас же самих унизительно – равнодушно наблюдать, как русские в Латвии побираются и роются в мусорных контейнерах. В конце концов можно быть трижды самым богатым в Латвии русским с безукоризненной репутацией демократа и либерала, но пока прочие русские вымаливают у государства унижающие их достоинство социальные пособия и нищенствуют, смотреть таким миллионщикам в спину будут косо.

И еще раз: интеграция – это сложение, а не вычитание

Проблема национального достоинства для русских решается просто. У них, как это было в 20-30-е годы прошлого века, в Латвии должна существовать своя культурная автономия с развитой инфраструктурой. Тогда тоже у русских были свои магазины, свои парикмахерские, школы, клубы, театры, своя книжная торговля и многое другое. И свои депутаты в Сейме, которые креативно отстаивали интересы тогдашней русской общины.

Параллельно пусть идет процесс интеграции, одно другому не мешает. Надо только не забывать простую вещь – чтобы по достоинству оценить чужие духовные ценности, необходимо уметь беречь свои. Никакая интеграция без этого невозможна. Интеграция – это всегда обогащение, приобретение, но не вычитание. И главное здесь – сохранить свою «самость», не предавать и не продавать того, что ее питает. Наоборот, искать, чем и как ее поддержать.

Это, пожалуй, если не единственное, то основное, что позволяет сохранить достоинство даже в самых трагических ситуациях. И еще миссионерская, меценатская, патронажная деятельность – кто на что способен. Тогда не придется посылать своих стариков стоять в унизительных пикетах. Тогда русского человека вновь начнут уважать, потому что вновь почувствуют в нем не бунтаря и возмутителя спокойствия, а силу и самодостаточность. И признают, что в Латвии он – у себя дома.

Не будите спящую собаку, или Мои основы интеграции

Врать некрасиво, господа хорошие

Интеграция – камень преткновения нашего времени. Все говорят о ее необходимости, но по-настоящему никто этим заниматься не хочет. Иначе за столько лет дело давно уже было бы в шляпе. Как в советские времена, тогда – и латыши, и русские - все очень быстро интегрировались, кому куда надо было, и выучили языки, кому какой нужен был.

Я вырос в русскоязычной семье, учился в русской школе, читал русские книги. Но каждый год мальчишкой вместе с мамой, сестрой и соседями с удовольствием ходил в Парк культуры и отдыха на праздник Лиго (жили мы тогда в Межапарке, нашими соседями по дому были латыши).

Это было во второй половине 50-х. Тогда Иванов день праздновали широко, весело и шумно, не в пример сегодняшнему тусклому празднику. Так что врут политики, когда утверждают, что праздновать Лиго в советское время было запрещено. Сколько себя помню, на Лиго Межапарк всегда оживленно гудел от праздничной толпы. Вечером по 11-му маршруту ходили дополнительные трамваи.

На рынках в Иванов день продавали все, что было необходимо для праздника. Прилавки заполнялись бумажными головными уборами, национальными лентами, дубовыми ветками и длинной озерной травой, которой вечером в парке парни хлестали по голым ногам проходивших мимо девиц.

День Лиго оставался рабочим днем, это верно. Праздник не считался государственным, но веселиться публике никто не мешал. Напротив, если взять все послевоенное время вплоть до наших дней, я считаю, именно в 50-60-е гг. Иванов день был по-настоящему латышским народным праздником.

Кстати, точно так же в то время и позже не были запрещены в Латвии и религиозные праздники. Хочешь – отмечай, это твое частное дело Я, поначалу мальчишкой-школьником, а позже и студентом, из года в год своим святым долгом считал принимать участие в семейном застолье на католическое Рождество и Пасху (с надламыванием церковной облатки и битьем яиц). А в студенческой компании много раз отмечал и православное Рождество. Уже после университета любимым моим праздником стало латышское Рождество. Мы с коллегами его пышно отмечали в рабочее время в библиографическом отделе университетской Научной библиотеки, где я проработал несколько лет. Коллектив там был латышско-русско-еврейский, но все охотно праздновали почему-то именно латышское Рождество. Так что, когда мне впаривают, что советская власть запрещала эти праздники, я, мягко говоря, жалею, что сейчас не принято драться на дуэлях.

Без принуждения и нажима

Языками я владею одинаково хорошо, и русским, и латышским. Латышский я выучил не на школьных уроках латышского языка (учительницы латышского во всех школах, где я учился, всегда были никудышные). Говорить по-латышски я как-то незаметно научился, когда дошкольником играл во дворе с соседскими детьми.

Еще, я считаю, большое значение имело то, что я в первых четырех классах учился в смешанной начальной школе. Там были латышские классы и были русские. Между школьниками происходило живое общение, потому что многие друг друга знали по внешкольным детским играм. В результате латышский язык для меня с тех пор не представлял никаких проблем. Поздней, уже окончив среднюю школу, я даже длительное время профессионально занимался переводом латышской литературы на русский язык и работал переводчиком в газете.

С другой стороны, я совершенно уверен, что сегодня я вряд ли так хорошо знал бы латышский язык, если бы, скажем, с начальных классов мне вколачивали в голову, что я, такой-сякой не катанный, обязан его выучить. Дело в том – и это нашим «интеграторам» важно понять, – что я и мои сверстники латышский никогда специально не учили, мы им овладели. Что послужило для нас тогда основой интеграции? Четыре самых простых обстоятельства. Живое общение в детские годы. Общие праздники. Общая, т.е. смешанная школа, без применения каких-либо принудительно-билингвальных методов обучения. И смешанные рабочие коллективы.

Точно так же, я думаю, если бы латы-шей в советское время, как сегодня живущих в Латвии русских, насильно, разными билингвальными методами принуждали учить государственный русский язык, вряд ли они сейчас в подавляющем большинстве так свободно на нем говорили.

Нельзя интеграцию проводить из-под палки. Ничего хорошего из этого не получается. И еще хуже, когда она становится политическим делом. Как политическую страшилку ее используют сегодня те, кто в интеграции совсем не заинтересован. Не будь такая проблема у нас четверть века назад заявлена как политическая и не наломай в связи с этим депутаты Сейма и чиновники столько дров, в Латвии все уже давным-давно говорили бы по-латышски и даже, кому надо, книжки латышских авторов читали бы в оригинале.

Не запрягай телегу впереди лошади

По идее, интеграция – дело очень простое. Мне кажется, до сих пор политики и чиновники искусственно, насильственно-принудительным способом через уподобление совершают не интеграцию, а культурную ассимиляцию. Чтобы не происходило никакой путаницы, начинать надо было именно с грамотного разъяснения этнологов (а не политиков, как у нас), что культурной интеграции не бывает. Интеграция может происходить только на уровне общественных отношений. Культуры при интеграции продолжают автономно существовать, благодаря чему они часто взаимно обогащаются. А вот ассимиляция – это совсем другой процесс, когда при силовом давлении одну культуру стремятся вытеснить другой.

Беда (или ошибка? или заведомое намерение?) наших «интеграторов» в том, что они почему-то упорно стремятся перевоспитать русских на уровне менталитета. Но сделать это невозможно. Менталитет искусственно не приобретается. Это почти генетически сложившийся у каждого из нас склад ума. Врожденные, устойчивые и практически, можно сказать, незыблемые интеллектуальные и эмоциональные особенности человека. Как земные тектонические плиты, они не поддаются переделке. Их можно разрушить или травмировать, но тогда жди катастрофы. Такой же, как землетрясения или цунами, когда «травмируются» тектонические плиты Земли.

Поэтому в целях интеграции никогда не надо пытаться манипулировать ценностными понятиями. Духовные ценности тоже нельзя изменить и тем более переделать. Они либо существуют в сознании человека, либо он до них не дорос. Или в результате «тектонического» потрясения их утратил. Ценности можно привить – это другое дело. Но любая попытка заставить человека отказаться от своих нравственных, духовных ценностей только оттолкнет его, вызовет в нем чувство вражды или неприязни. Это тот случай, когда говорят, не буди спящую собаку. Тебе же будет хуже.

Точно так же нельзя принудительно навязывать чужой язык. Для взрослого человека язык не только средство общения, но и основа его культуры. Только маленьких детей можно насильственно принуждать учить языки. В раннем возрасте, пока родной язык для них еще не стал символом веры. Человек зрелый сам должен захотеть овладеть другим языком. Добровольно. Тогда в этом будет и смысл, и толк. Поэтому – я в этом совершенно уверен – в целях интеграции, если мы хотим, чтобы человек знал язык того общества, в которое он интегрируется, упор надо делать не столько на школьном обучении, сколько на семейном воспитании.

К счастью, мир так устроен, что любой человек, оказавшись в новой для себя языковой ситуации, – если только его не принуждать! – сам начинает говорить на нужном ему языке. Он стремится к общению с окружающими людьми, к тому, чтобы чувствовать себя с ними на равных. И если не делать из этого проблему, все происходит проще простого. Легко, увлеченно и празднично. Вспомним, что быстрее всего объединяет людей? Общая работа, общие развлечения и праздники! Это же так просто – праздновать и радоваться соо бща.

Скажите, кто не любит праздники?

Тут, казалось бы, для «интеграторов» представляется широкое поле действия. Но почему-то как раз там, где результатов добиться легче всего, они начинают вставлять всем палки в колеса. Рождество и Пасха – у нас самые популярные праздники с богатыми древними традициями. Бизнесмены и торговцы прекрасно используют их для того, чтобы увеличить свою прибыль. Торговля в эти предпраздничные и праздничные дни каждый год превращается в своего рода «общее гуляние». А что делают наши «интеграторы»? Это поразительно, но призванные обслуживать программу интеграции латышские и русские СМИ, наши идеологи-политики и государственные чиновники как нарочно стараются сделать все, чтобы в дни этих праздников разобщить население страны. И даже больше – науськать одну его часть на другую по национальному и религиозному признаку.

Вспомним, как мы однажды отпраздновали Рождество. В тот раз даже российское телевидение не саботировало «европейское Рождество»: в Сочельник и на следующий день главные российские каналы давали соответствующую праздничную программу, хотя до русского Рождества оставалась еще уйма времени.

У нас «европейское Рождество» совпадает с «латышским» – католическим и лютеранским. Местный русский канал TV5 сделал нашим русским католикам, лютеранам и тем, кто вместе со всей страной отмечал этот праздник, несказанный подарок. В Сочельник в 19.30, когда все, дождавшись, как положено, «первой звезды», садятся за праздничный стол, на TV5 обычные новости были отменены и вместо них запустили совершенно жуткий, кровавый американский боевик. Со стрельбой и обнаженкой. Заметьте, это в то время, когда по латышским каналам транслировалось торжественное богослужение из Домского собора.

После богослужения латышское телевидение для своего зрителя передавало рождественский концерт из Вены, а в 23.00 началась трансляция Святой мессы из Ватикана (с латышскими комментариями, разумеется). Нам же вместо всего этого великолепия TV5 показало телесериал – «Ментовские войны». А после него – кинодоходягу «Улицы разбитых фонарей». Ну, а когда в одиннадцать часов началась ватиканская месса (это зрелище, как известно, транслируется в Латвии мало того, что раз в году, так ведь еще и за большие деньги), на TV5 как нарочно запустили для русского зрителя старую запись пошловатого и шумного юрмальского праздника смеха.

Зачем, почему – кто из телевизионщиков сможет это объяснить? И, между прочим, все это с завидной последовательностью на нашем телевидении практикуется в рождественские дни уже не один год.

Куда смотрят «интеграторы»? Как раз рождественские праздники они и могли с успехом использовать в своих интересах. Запустить на TV5 русскую версию латышских праздничных программ – это стоило бы копейки. Показать, как в Латвии отмечают «западное Рождество». И русский зритель, уже обалдевший от изобилия на всех каналах криминальной телепродукции, в этот вечер наверняка не отрывался бы от рождественских передач. Для чего всего-то-навсего надо было задействовать разбитного, сообразительного телеведущего, чтобы комментировал латышские праздничные передачи на русском языке. Это и называется интеграцией.

Скоро Пасха. И вообще…

Такое же недоумение вызывает и Латвийское радио-4. По русскому радио, кроме рождественской рекламы, о «европейском» или латышском Рождестве не было ни слова. Наши креативные структуры о своих интеграционных задачах и тут забыли начисто. Взять, к примеру, популярнейшую на радио «Домская площадь» передачу Александр-студия. Казалось бы, где в эти дни в Риге наглядней всего отмечалось Рождество? Там же, в Старом Городе, конечно!

Можно было бы прямо у Домского собора оперативно записать несколько мини–интервью с торговцами, с гуляющими рижанами и с туристами о том, кто как отмечают латышский зимний праздник в Старом Городе, и радиослушатели с радостью все это прослушали бы. Или сделать рождественскую передачу из какого-нибудь католического или лютеранского храма… Нет, вместо этого ведущий сперва включил телефон и битый час принимал звонки на будничные бытовые темы, чуть ли ни о том, у кого почему крыша течет. А потом долго беседовал «за жизнь» с певцами Пирагс и Шнуром. Хотя русский зритель ждал другого – разговора о «европейском Рождестве».

Не за горами была Пасха. В тот год в двадцатых числах апреля мы все одновременно, и православные, и католики с протестантами, что случается нечасто, собирались отмечать самый большой христианский праздник. Как он прошел? Заметили ли его наши «интеграторы» на телевидении и радио, или опять упустили прекрасную возможность для консолидации латышей и русских?..

До сих пор интеграция в Латвии проводилась жестко и принудительно. Результатов это дало – ноль. Единственное, что лично я постоянно ощущал, так это то, что все у нас делалось почему-то с ярко выраженным русофобским уклоном.

Интеграция должна быть доброжелательной и консолидирующей. Надо избегать любых форм принуждения. А главным вектором интеграции должно стать дошкольное и семейное воспитание.

Только, на мой взгляд, этого недостаточно. Если интеграции у нас действительно придается государственное значение, то пора уже перестать назначать ей в опекуны, как бедной падчерице, то одно министерство, то другое.

Необходимо создать государственный центр интеграции. С такими же правами и функциями, какими наделен, например, Центр государственного языка. И так как на протяжении последних двадцати лет у нас почему-то ущемленной стороной в делах интеграции постоянно являлись русские, то хорошо было бы, чтобы возглавил этот центр русский человек, хорошо знающий латышский язык и культуру. И чтобы его сотрудники пропорционально представляли национальный состав населения Латвии. Для общего блага им кроме того не помешало бы одновременно являться еще и советниками министерств кабмина. Вот тогда дело приобрело бы по-настоящему государственный размах.

«Наш пароход отходит в светлое прошлое…»

Нашим министрам культуры не удалось сформулировать цели, задачи и способы интеграции так, чтобы весь спектр политических деятелей выразил свое удовлетворение ими и захотел их поддержать. Серьезную поддержку новым идеям интеграции не проявила ни одна из политических партий. Это означает, что западный пример – ни европейский, ни американский – нам просто не подходят. Хотя мне лично кажется, что дело даже не в этом. В Европе и Америке интеграция никогда не была принудительной и происходила добровольно. И я думаю, реакция политиков была бы иной, откажись в свое время Сармите Элерте*, «основоположница» интеграционной политики, от принудительно-насильственного метода и возьми она за основу интеграции не знание латышского языка, а что-нибудь другое.

От доминирования латышского языка наши интеграторы отказываться не намерены. Пусть так. Тогда остается еще один способ интеграции – восточный, советский. Как это ни парадоксально, именно он нам может подойти лучше всего, потому что он как раз и опирался на государственный язык как государствообразующую константу, за что сегодня ратуют латышские политики. И вполне возможно, что этот способ интеграции нам в конце концов и придется взять за основу (только называться он у нас, конечно, будет иначе). Хотя бы потому, что и латыши, и русские, и все существующие в Латвии нацменьшинства его апробировали и использовали в своей жизни много десятилетий. Если эту проблему перестать политизировать, такая интеграция у нас, возможно, сработает эффективнее любой другой.

Молодые люди, родившиеся на рубеже веков и одураченные нашими политиками, наверняка уверены, что латышский язык в СССР был в загоне и даже вымирал, как это сейчас принято утверждать. Ничего подобного! Все было как раз наоборот. Притеснялся в Латвии – во всяком случае везде, где это имело значение, – не латышский, а русский язык. Латышский в доперестроечной Латвии на протяжении нескольких десятилетий официально играл доминирующую роль. И мне ничего не стоит это доказать.

Но вначале для полной ясности я бы хотел отмежеваться от сталинской эпохи и всего, что нынешние либерал-демократы связывают со сталинизмом. Я «вышел в жизнь», т.е. окончил среднюю школу, когда Сталин уже несколько лет как умер. Система координат круто изменилась. В последующие годы все, что с ним было связано, отвергалось и осуждалось буквально каждый день и на каждом шагу. Целых полвека после смерти Сталина все мы жили в условиях огульной десталинизации. И об этом сегодня необходимо говорить.

Странно тогда, откуда же взялось это постоянное кивание наших политиков на сталинские времена, словно после 1953 года у нас сразу настали 90-е, и утверждение, что латышский язык и латышская культура в Латвии умирали?

Объясняется это просто. Политический климат в независимой Латвии последние двадцать лет делали люди, которые в то время здесь не жили. Они вернулись на родину (число возвращенцев измеряется многими тысячами) лишь после девяностых годов и – на всю жизнь глубоко травмированные Сталиным – решили поставить знак равенства между «советским» и «сталинским», сделать их синонимами. Тем, кто командует парадом, очень быстро тоже прониклись этими идеями и потому все годы советской власти тоже красят одним, сталинским цветом. Так им проще жить.

---

* Сармите Элерте, латвийский политик и журналист. Министр культуры Латвии с 2010-го по 2011 г.

Двуязычие реальное, неоспоримое

Теперь о языке. В советские времена существовала незыблемая формула интеграции – все должно быть национальным по форме и социалистическим по содержанию. Латышский язык относился к «национальному по форме» и притесняться просто никак не мог.

Окончив в 1965 году филфак нашего университета, я все последующее время проработал, можно сказать, в эпицентре латышской культуры. Так вот, занимаясь переводом латышской прозы и, значит, тесно соприкасаясь с местными издательствами (между прочим, издавали художественную литературу у нас «Лиесма» и «Авотс» – названия, как видите, латышские), и более четверти века проработав в трех крупнейших рижских библиотеках, в университетской, академической и дольше всего в нынешней Национальной, я везде и всегда чувствовал, что латышский язык отодвигает русский на второй план. Позиции латышского языка были очень сильны.

Да, на рижских улицах у нас в советское время чаще говорили по-русски. И латыши, склонные по своему менталитету приспосабливаться к окружающей среде, обычно в разговоре тоже предпочитали переходить на русский язык. Но это еще ничего не значит. Кстати, в смешанных семьях хоть и общались часто на русском языке, а вот новорожденных записывали обычно латышами. Стоит задуматься – почему.

С другой стороны, например, русскому писателю, живущему в Латвии, издать свою книгу было всегда намного трудней, чем латышскому. И не только в Риге, но и в Москве тоже. Книги наших местных латышей печатались в Москве в русском переводе охотнее и гораздо большими (стотысячными, между прочим) тиражами, чем живших в Латвии русских писателей и поэтов. К слову, как ни странно, но это факт, рижанину-латышу в московский или питерский вуз поступить было тоже проще – как «национальному кадру» (в то время это правило практиковалось очень широко).

В Союзе писателей Латвии на русских прозаиков и поэтов смотрели как на что-то второразрядное и некачественное. Тиражи наших рижских изданий латышских авторов, даже в русском переводе, в десятки раз были выше, чем у русских. Вот так на самом деле «умирал» латышский язык и «катастрофически вымирала» латышская нация.

В университетской библиотеке я работал в группе, которая занималась составлением библиографических указателей научных публикаций наших университетских преподавателей. Русские разделы этих указателей были в разы меньше латышских. Не говоря уже о том, что и количество латышских преподавателей во много раз превосходило количество русских.

Во всех местных библиотеках любого уровня было принято в картотеках и каталогах в начале каждого раздела первыми (!) ставить латышские карточки, а потом уже русские. Даже пишущие машинки в библиотеках были преимущественно с латинским шрифтом. Получить для работы русскую машинку всегда было серьезной проблемой. Читательские билеты заполнялись только на латышском языке. Общаться между собой работники в Государственной и академической библиотеках старались тоже на латышском. И только в университетской библиотеке ситуация немного отличалась. Там директором была Софья Малинковская, у нее русских, латышей и евреев работало как-то поровну, так что говорили, на каком языке придется. И, кстати, поэтому общий интеллектуальный уровень здесь был заметно выше.

Везде одна картина

Через отца-скульптора я знал, чем жил и как работал Союз художников Латвии, – там все было исключительно на латышском. Больше всего меня поражало, когда я туда приходил, а позже и в Союзе писателей, насколько там интерьер и живописные полотна на стенах были выдержаны в строго национальном стиле. В конце 80-х, когда я занялся театром, меня приняли в Союз театральных деятелей, и там картина оказалась точно такая же. Скажу больше, создать в Риге новый русский театр в дополнение к Русской драме и дву-язычному ТЮЗу в советское время было просто невозможно, а вот латышский - всегда пожалуйста.

Русских газет в советское время у нас выходило тоже меньше, чем латышских. А литературно-художественный журнал был вообще один. Сперва «Парус», потом «Даугава». Тут тоже доходило до смешного. Казалось бы, это журналы для русских авторов. Однако нет. Всегда переводы с латышского языка печатались охотней, чем русские стихи и проза. Вот такой феномен! Поэтому исторически уже сложилось, что более или менее яркие и талантливые русские авторы – вспомним хотя бы фантаста Владимира Михайлова, сатирика Льва Самойлова, поэта Всеволода Лессига, – уезжали в Россию.

Латышский язык везде, где это касалось культуры, и в большинстве академических научных институтов и образовательных учреждений занимал доминирующее положение. Он доминировал потому, что никто его силой не навязывал. Все, кому надо было, в разной степени им владели. И не задумывались о его статусе. А на самом деле тогда русский в Латвии был вторым государственным. Ведь названия улиц в городах Латвии писались как? Сейчас уже многие не знают – на двух языках. На латышском и русском. Вот это была реальная и главное добровольная интеграция.

Так что, условно говоря, господа интеграторы, повесьте на домах таблички с латышскими и русскими названиями улиц, и все у вас получится. И поменьше политических амбиций! Хотя я уверен, если бы удалось добиться, чтобы русский у нас стал вторым государственным, так оно и было бы. Все быстро бы утряслось, наши этнические проблемы сошли бы на нет, и никакая государственная программа интеграции уже никому бы не понадобилась.

Русский коллапс

Наши СМИ сломались на культуре

Удержать сегодня в Латвии русскую культуру на плаву трудно – ее топят все кому не лень. Особенно обидно, когда это делают сами же русские. Как будто задавшись целью опустить здесь моральный и интеллектуальный уровень русского населения по возможности ниже. Первыми мощный удар по культуре нанесли русские газеты.

Если раньше более или менее продвинутый обыватель начинал читать газету с новостей культурной жизни, печатавшихся обычно на последнее полосе, то сегодня ничего такого он там не находит. Читать газеты мы начинаем, как ни странно, со свежих анекдотов. Это теперь непременное блюдо каждого ежедневного издания. Затем прочитывается афоризм. Максимы и анекдоты почему-то у нас стали газетными жанрами. Потом, естественно, – гороскоп на текущий день и прогноз погоды. Но и после погоды, прежде чем перейти к новостям, наш читатель бегло просматривает газету в поисках очередной статейки о ком-нибудь из звезд кино, театра или эстрады. Обнаружив таковую, он удовлетворенно откладывает клубничку на сладкое и, наконец, принимается за текущие новости. Все остальное в газете его мало интересует. Разве что еще политика. Но не потому, что с некоторых пор почти все мы зациклились на политических событиях. Дело совсем в другом.

Политические статьи, в отличие от прочих газетных публикаций, благодаря своей жанровой специфике содержат еще хоть какое-никакое авторское отношение к описываемым событиям. Это не значит, что читатель сам не способен составить о них собственное мнение. Способен. Просто он его уже составил – вчера, накануне появления сообщений о них в утренней прессе. И в этом все дело.

Газеты в том виде, как они издаются сегодня, перестали удовлетворять наши потребности в информации. Это случилось практически сразу после того, как они «пожелтели» и вместо аналитических стали строго новостными. А на что нам газетные новости? Их мы сегодня узнаем - из интернета, по радио и телевидению – чуть ли ни за сутки до того, как они появляются на газетной полосе. Читателя сегодня могут заинтересовать в газете не сообщения о текущих событиях, а грамотный комментарий, их интерпретация. Ему нужен анализ событий, чтобы сравнить со своим частным мнением и прийти к среднему знаменателю.

Этим, собственно, русский читатель и отличается от западного. Ему недостаточно своего амбициозного мнения. Он живет в социуме, и объективное, социумное отношение к чему бы то ни было ему интересно точно так же, как свое собственное. И, может, даже больше. Желтая пресса дать этого не способна. Аналитику наши газетчики зареклись печатать, похоже, навсегда.

Это накладно: политологам-комментаторам приходится платить гораздо больше, чем репортерам-обозревателям. Вот и обходятся сегодня наши русские газеты политическими слухами, сплетнями и очень любят вместо профессиональных комментариев… пиарить предстоящие события. Предсказывать, что будет, если…

Так что степень желтизны русской прессы в Латвии определяется сегодня не столько даже наличием в газетах анекдотов, гороскопов, афоризмов и прочей развлекухи, сколько исчезновением культурной аналитики. Культурной – в обоих смыслах. Я имею в виду и культуру анализа, и исчезновение из

русских газет вообще любой аналитической критики – литературной и какой бы то ни было еще. Между тем в прежние времена именно высокий уровень культурных полос в печатных СМИ обычно во многом определяли их вес, статус и читательский спрос. Вот и получается, что русские СМИ у нас сломались на культуре.

На Западе газетная продукция, между прочим, посерьезней нашей. Там издатель, видно, понимает, что культура в газете определяет если и не все, то очень многое. И главное – стиль мышления. Во всяком случае, в каждой солидной газете там одной только литературе посвящает от восьми до двенадцати полос в неделю. А если нет, выпускается специальное литературное приложение. И театр, кино, изобразительное искусство, музыка там тоже отданы в руки не пиарщикам, а критикам и тем, кто «делает» культуру, профессиональным культуртрегерам.

У нас же в каждой русской газете о культуре пишут всегда одни и те же постоянные репортеры. Они с одинаковым рвением расхваливают сегодня спектакль, завтра выставку, послезавтра гончарное производство. Разбираться в этом профессионально им не надо, потому что от них не требуется ни личного мнения, ни отношения, ни критической оценки. Культура у нас выше статуса нищей приживалки не поднимается, а газетные культурные полосы превратились в дополнительную площадь для рекламы.

Окстись, русский человек!

С таким же пренебрежением к культуре относится в Латвии и телевидение. Тут тоже складывается удивительная ситуация. Посмотреть, что показывают наши русские каналы, – диву даешься. И что удивляет, опять же сами русские люди, от которых зависит, что давать по местному телевидению и какие российские каналы транслировать по кабельному, делают все возможное и невозможное, чтобы деморализовать и оболванить своего телезрителя. Малейшее проявление на экране интеллекта выжигается каленым железом, и, наоборот, вполне целенаправленно насаждаются развлекательные передачи и сериалы самого низкого пошиба.

Можно сколько угодно говорить и писать, например, о том, что нам в Латвии позарез нужен российский канал «Культура». Ах, он вам нужен? Вот мы его для вас и не купим. Под каким-нибудь удобным предлогом – мол, дорого стоит, у нас денег не хватает. Телевизионщикам гораздо выгодней гнать для русского зрителя какую-нибудь криминальную жесть, заливать телеэкран морем крови, насилия и уголовщины… Берешь пульт, начинаешь прыгать с канала на канал, всюду одно и то же – трупы, убийства и пальба из стрелкового оружия.

Как это действует на психику телезрителя, способствует ли развитию интеллекта, объяснять не надо. Все на этот счет уже просвещены. Обидно только, что, если копнешь глубже, начнешь выяснять, кто за этим стоит, посыплются русские имена.

Может, эти люди не ведают, что творят? Я думаю, прекрасно ведают! В том-то и беда, что нам месяцами, изо дня в день, показывают одни и те же сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Закон и порядок», «Убойная сила», «Спецгруппа» и тому подобную чепуху с одной единственной целью. Чтобы вытравить до последней капли из мозгов местных русских любые признаки нравственности и интеллекта.

Что канал, что канализация…

Казалось бы, за русскую культуру в Латвии горой могло бы встать кабельное телевидение. Российские телевизионщики славятся своим профессионализмом. Многие тематические, документальные передачи московского телевидения и особенно интеллектуальные и политические ток-шоу всегда пользовались в Латвии большой популярностью. «Тем временем» Александра Архангельского, «Апокриф» Виктора Ерофеева, «Культурную революцию» Михаила Швыдкова, «Школу злословия» Татьяны Толстой и Дуни Смирновой не только русский, но и латышский телезритель старался не пропускать и смотрел постоянно.

И вдруг начало происходить невероятное. Местные владельцы кабельного телевидения стали последовательно вымывать из программ все более или менее интересные и познавательные передачи. Или выталкивать их из прайм-тайма. Например, «Временно доступен» стали показывать в дневное, то есть в рабочее время. «Школа злословия» и «Ничего личного» перенесены на поздний вечер. «Тем временем», «Апокриф», «Культурная революция», а также все музыкально-просветительские передачи с некоторых пор вообще не доступны в Латвии.

Кроме того, неожиданно перестали транслироваться российские каналы, демонстрировавшие добротные, заслуживающие внимания художественные фильмы российских режиссеров. Исчезли из пакетов кабельного телевидения каналы TV 1000 и TV 1000 «Русское кино». Перед тем точно так же исчез канал TV XXI. Вместо них кабельщики стали поставлять два канала западного фильмового ширпотреба FoxLife и FoxCrime. Сплошь детективы и развлекуха.

Кто-нибудь в руководстве кабельных сетей подумал, зачем русскому человеку в Латвии FoxLife и FoxCrime? Наверное, подумали. И объяснили это, как обычно, очень просто: по техническим причинам. Или по финансовым. Понятное дело, лишних денег сейчас ни у кого нет. Непонятно другое: почему денег не хватает каждый раз именно на качественную телепродукцию? Сокращайте свои «фоксы» и оставьте телезрителю то, что развивает его интеллект, а не деморализует его. В конце концов, можно же было сделать эти каналы платными, но оставить зрителю право выбирать, что он хочет смотреть.

Заговор или опять «дороги и дураки»?

Почему так происходит? Почему все, что мы ни делаем, опускает русскую культуру, что называется, ниже плинтуса? Объяснить этого никто не берется. Меня же в таких случаях всегда смущает одна вещь. Стоит только заговорить о системных причинах, лежащих в корне всех этих – и не только этих – проблем, как собеседник начинает махать руками: только, ради бога, обойдемся без «теории заговора».

И каждый раз мы обходимся, спихивая все на «дороги и дураков». Только не при чем тут ни русские дороги, ни дураки (во главе газет, журналов, телевидения у нас как раз стоят очень даже умные люди).

Казалось бы, газетное дело и телевидение, хоть и имеют точки соприкосновения, далеко отстоят друг от друга. Главнокомандующие у них разные. А приглядишься повнимательнее, и там, и там явно прослеживается некая общая закономерность в том, с каким упорством и последовательностью они стремятся не поддержать, а, наоборот, сломать хребет русской культуре. Да так, чтобы она уже не встала на ноги. Тенденция общая – это очевидно. А тенденция – явление системное. Это когда количество переходит в стабильное качество, в систему. Значит, и причины здесь имеют системный характер. И если это не заговор, то что?

Русский синдром

Я получил письмо от читательницы. Она спрашивает: «Откуда у латышского бомонда такое неприязненное отношение к русским? Вроде бы литературоцентричная нация, сорок лет воспитывалась на латышской советской литературе и вдруг как с цепи сорвались...».

В чем-то читательница, конечно, права. Латышские советские писатели относились к русским благожелательно. Но ведь это не вся латышская литература! Если задаться вопросом, какое отношение к русским прослеживается в прозе латышских досоветских писателей, а также эмигрантских и современных, придется признать, что в большей степени плохое.

И не к одним русским. Ноги латышского национализма растут не столько из нелюбви к русским, сколько из ксенофобии вообще – из страха перед инородцами и боязни всего чужого. Разговоры об оккупации – всего лишь маска, под которой прячется свойственный многим маленьким народам комплекс литлизма (от англ. little). Это комплекс «маленького человека», привыкшего подчиняться сильным мира, но мечтающего переломить судьбу и перестать, по крайней мере в собственных глазах, выглядеть лакеем. Отсюда и латышская замкнутость на своем национальном ареале (т.н. «особый путь развития»), и неприязнь ко всем приезжим инородцам за исключением тех, с чьей ладони они в текущий момент кормятся. Отсюда же и манера принижать в литературных произведениях достоинства представителя другой народности, что в первую очередь распространяется, конечно же, на русских как на ближайших своих соседей. Эта неприязнь бросается в глаза, довольно прочитать пару-тройку книг культовых латышских писателей. Борис Инфантьев, доктор наук, филолог-фольклорист и культуролог, прочитал их гораздо больше. Свою научную жизнь он посвятил русской культуре в Латвии, поэтому его заинтересовало, как представлен русский человек в латышской, в основном послевоенной прозе.

Вопрос этот Борис Инфантьев исследовал досконально. Подборка его заметок, статей и переведенных им фрагментов из романов латышских авторов теперь издана в альманахе Гуманитарного семинара Сергея Мазура*. Они производят ошеломляющее впечатление.

Что больше всего поражает – мелочность и близорукость латышских авторов. За своими обидами и переживаниями они не сумели увидеть тех страданий и лишений, которые в годы войны перенесли другие народности, участвовавшие в военных действиях. Чувство социального превосходства и пренебрежения к инородцам ослепляет. Войну в латышской прозе – не в советской, конечно, а в той, которая сейчас в ходу, – читатель видит не как мировую социально-историческую катастрофу, а лишь как национальную трагедию, разметавшую несчастных латышей по белу свету. Вину в этом латышские авторы вешают не на гитлеровцев, а на русских и, в частности, на советскую армию. Один из самых известных латышских писателей-эмигрантов Аншлавс Эглитис иначе как монгольскими полчищами советскую армию не называет (роман «Зеленые льды, синие горы»). Другой не менее известный эмигрантский писатель Дзинтарс Содумс в своих воспоминаниях идет еще дальше. Ригу и всю Латвии, по его словам, в 1944 году захлестнуло нашествие русских, монгол, татар, киргизов, узбеков, таджиков – пестрый сброд, составлявший ряды советской

---

* Мазур Сергей Александрович – историк, публицист, биограф Бориса Федоровича Инфантьева, исследователь наследия архиепископа Иоанна (Поммера). Учредитель и руководитель Гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, основанного в 1999 году с целью развития русской культуры Латвии. Альманах «Русский мир и Латвия» издается с 2004 года.

армии и красных партизан. Страницы книг Содумса пропитаны острой неприязнью к тем народам, которые входили тогда в состав советской страны.

Но самое страшное зло – это, конечно, русские. Оказывается, эта нация исторически сложилась как скопище бездарностей, не давших человечеству ничего, что можно было бы сравнить с европейской культурой. И хотя русские всегда видели в латышах носителей высокоразвитой западной цивилизации, их «повышенное самомнение и гордыня не позволяли им это признать». Так пишет другой Эглитис – Виктор, между прочим, выпускник Витебской духовной семинарии и Юрьевского университета. В книге «Латыш в России» он, признавая за русскими широту души, тем не менее. называет их «больным народом неврастеников».

Неприязнь к русским насаждается в латышской литературе не только писателями-эмигрантами. Она зародилась гораздо раньше. Еще в ХШ веке Генрих Латвийский изображал в своих «Ливонских хрониках» русский народ как врагов. Он писал, что русские «жнут там, где не сеяли». Что они ленивы, они обжоры, пьяницы и плохие вояки: «Русские после обильной еды любят вздремнуть – вот тогда на них лучше всего нападать».

В неприглядном виде рисуют русских военных латышские авторы и более поздних времен. Русские офицеры на первой мировой были якобы больше озабочены своими личными и семейными проблемами, чем фронтовыми делами. Такими их изображает Карлис Штралс в трилогии «Война»». А русские солдаты у него представляют собой плохо управляемую и потому пугающую, серую стихийную массу. Генеральские чины, как правило, бездарны. По их вине латышские стрелки в романе «Вихри лихие» Александра Грина (не путать с советским писателем) несут огромные потери. Думая только о своей карьере, не слушаясь дельных советов латышских командиров, эти военные спецы готовы бездумно жертвовать тысячами солдат и офицеров.

Неприязненное отношение к «русским воякам» в латышской литературе во многом формируется памятью о российских карательных отрядах и казачьей «черной сотне». О жестоком усмирении народных бунтов 1905 года, о запоротых казачьими нагайками латышах писали и Рутку Тевс («Латыш и его господин»), и Карлис Скалбе («Казак»), и Андрейс Упитс («Северный ветер»).

Отсюда, как говорится, рукой подать до недоверия и страха перед русским нашествием вообще. Чтобы защититься и предостеречь от «русской скверны», латышские писатели готовы в ход пускать все, что угодно. Лишь бы показать русского человека чудовищем, пугалом или совсем никчемным и ни на что не годным. Вот характерный монолог: «Что русские? Против латыша они – кукушки. Приезжают свататься к моим дочерям, а я лежу на печи и даже не слезаю. Смотреть на них противно. Пьяницы, и больше ничего» («Каспар Глун» Антонса Аустриньша).

А если русский не пьяница, то непременно коммунист. А не коммунист, то предатель, шпион или морально опустившийся тип. Даже известный латышский тенор Марис Ветра, сам родом из Петербурга, образованнейший человек и друг Шаляпина, умудрился в «Шестой колонне» так описать русских, что хоть в лес не ходи…

Читая все это, русофобом стать немудрено. Но есть тут еще одна странность. Известно, с каким пиететом русские писатели, в отличие от латышских, относились к латышам и их культуре. Пушкин, Тютчев, Тургенев отзывались о своих друзьях в Латвии с неизменным теплом и любовью. Маяковский называл латышей «довольно милым народом». В восторге от Латвии был Эренбург. А уж о тех, кто из года в год наезжал в Дом творчества в Дубулты, и говорить не приходится.

Бальмонт, Белый, Коринфский, а в 50-80-е годы мощная плеяда советских поэтов часто переводила стихи самых разных латышских авторов. Такого же интереса стихи даже самых известных русских поэтов для латышей никогда не представляли. Теперь это говорит о многом.

Срез третий. АПОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ

«Чтение было для меня наилучшим средством против неприятностей в жизни; не было такого горя, которое час чтения не рассеял».
Монтескье

«Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить».
Вольтер

Купи ребенку Жюля Верна!

Сегодня школьные учителя снова ломают голову, как приучить своих учеников к книге. Но кто сказал, что делать это должна школа? Чтобы разобраться, наверное, неплохо было бы вначале понять, что такое чтение?

Школа своими уроками литературы не может приучить читать, она учит правильно мыслить. Так по крайней мере было раньше, но я думаю, теперь ситуация мало изменилась. Школа вообще должна не «приучать» к чему-то, а совершенствовать заложенные в ребенке возможности. Ведь что такое чтение? Это способность мыслить образами, фантазировать и еще – слышать музыку слов, находя в этом особое удовольствие. Для этого надо обладать особым слухом, а прививается и развивается он, как и мышление, – в семье, в раннем детстве регулярным чтением ребенку сказок, хороших стихов и хороших детских книжек.

Недавно, будучи в книжном магазине, я был поражен неожиданной картиной. Распахивается дверь и в книжный зал с радостным криком вбегает ребенок в возрасте, когда еще и по слогам не каждый умеет читать. За ним торопливой походкой едва поспевает молодая мама. Ребенок сам несется в «детский зал» – видно, что он здесь уже не раз бывал, – задерживается там минут десять, и – бегом в кассу с какой-то детской книжкой… Вот его к книгам приучать уже не придется.

Мне, я помню, когда исполнилось десять лет, мама подарила на день рождения книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта» с романтическим парусником на обложке. Читать я, естественно, уже умел, а вот любил ли, не знаю. Мне сказали: «Пусть эта книга будет первой в твоей библиотеке». И выделили пустую полку в книжном шкафу, которую я сам должен был заполнить. На титульном листе подаренной книги я нарисовал в уголке единичку. Так началось мое детское увлечение книгами и паломничество в книжный магазин. А значит, и чтением тоже, потому что приходилось разбираться в книжках и самому караулить, когда в книжный – он был по соседству с домом – завезут новинки. Покупать книги мне разрешалось только по одной, и надо было уметь выбрать самую стоящую. Кстати, точно так же в те годы – в конце 50-х – моих сверстников приучали коллекционировать марки, монетки или бабочек. Все зависит от наших пап и мам, кто чему научит ребенка.

Правда, тут есть свой секрет. Кроме увлеченности многое значит престижность. Книги, домашние библиотеки, учеба в вузах, потом занятия литературой или какой-то наукой – раньше это было делом престижным. И не каждому доступным, но не по деньгам,

как сейчас, а по уму. Это сегодня книг полным-полно везде. Здесь кроется парадокс: книг сегодня так много, потому что читающей публике они не по карману. А для людей с деньгами они, наоборот, – доступны, как пыль, и потому не престижны. Но рано или поздно книги подешевеют. Тогда они мигом исчезнут с прилавков и снова станут «престижными». Книжная гонка должна начаться заново. И тогда «приучать читать», наверное, никого больше не надо будет.

А сейчас может ли школа как-нибудь изменить ситуацию? Вряд ли. Впрочем, одно средство есть – надо попробовать делать уроки литературы факультативными. Но не для всех желающих, а с ограниченным числом учеников. Факультатив мог бы набираться даже не по желанию, а на конкурсной основе. Тогда появится какая никакая конкурентность, соревновательность и, вполне возможно, престижность. Дескать, книжки читать и разбираться в литературе дано не каждому, а тому, кто семи пядей во лбу.

Что, в общем-то, совсем не далеко от истины. Ведь сегодня для серьезного чтения одной только грамотности недостаточно. Теперь умение читать хорошие книги, – не детективы и не любовные романы – редкий дар. И владеет им, как мы видим, совсем не каждый.

Зачем я читаю книги

Я задумался, зачем я читаю книги? Для пользы? Для дела? А гуляю, сплю, работаю – зачем?.. И пришел к выводу: чтение дает радость. Как все остальное в жизни, если делается по-настоящему. Ученые недавно установили: когда работа в тягость, она успеха не приносит.

Книги обладают чудесным свойством. Читая их, мы выходим за пределы своих интеллектуальных орбит. Мы переносимся в другие миры, открываем новые чувства и способности. Начитанный человек считается развитым не потому, что больше знает. Преимущество в другом: он умеет жить одновременно в нескольких мирах, у него в активе сразу несколько орбит существования. Зачем, кстати, издается так много переводных книг? Затем, чтобы читающий их становился человеком мира.

Но и это еще не все. Родители часто жалуются, что дети от них отчуждаются. Что дети их не слушаются. Что отец с матерью и остальные близкие перестают быть для детей авторитетами. Так вот, оказывается - и это тоже установлено научно – ничто так не сближает взрослых и детей, как чтение вслух. Надо как можно раньше начинать читать детям книги и делать это регулярно. Тогда ребенок привыкает прислушиваться к взрослому, у него развивается потребность задавать вопросы и получать на них ответы. Вместе с тем у него вырабатывается уважение к старшим, желание узнать их мнение и прислушаться к нему.

Очень важно, чтобы в раннем возрасте у ребенка преобладали детские книги отечественных авторов. Это прививает чувство любви к отечеству, к родному языку, расширяет запас слов, развивает интуитивное понимание основных культурных архетипов и традиций.

Очень важно чередовать для детей стихи и прозу. Проза развивает мышление ребенка, склонность к самоидентификации, к свободе выбора. Поэзия в свою очередь учит мыслить образно и афористично. Детские сказки организуют систему чувств, эмоциональное восприятие и фантазию ребенка.

Наша беда сегодня в том, что, пренебрегая «книжным воспитанием» и позволяя ребенку часами просиживать за компьютерными играми, скакать с сайта на сайт, родители практически своими же руками убивают в нем простые человеческие чувства. Он рано отвернется от них и станет жить не просто самостоятельной, но и отдельной от близких жизнью, и тогда уже никакими силами его не вернуть. У него исчезнет, так и не развившись по-настоящему, желание не то, что общаться с людьми, но в первую очередь пропадет потребность в общении с родными. Не случайно в русских семьях, как, впрочем, в благопристойных и просвещенных домах всего мира, раньше была так развита традиция семейного, коллективного чтения книг вслух не только для детей, но и среди взрослых. Это очень мощный инструмент общения. Почему немощные старики и люди, прикованные к постели, так любят, чтобы им читали вслух? Для них это самый интересный способ общения. Зачем школьникам задают учить стихи наизусть, а потом заставляют читать их перед классом? Это, конечно, развивает память и устную речь, но главное – приучает внимательно вслушиваться в речь своего сверстника, а его самого – завладевать вниманием класса.

Все это – формы общения, развивающие в человеке с раннего детства навыки общежития, то есть способы коммуникации с окружающими людьми. Давая друзьям «почитать книжку», ребенок на самом деле включает коммуникативные механизмы, расширяющие его собственный мир и позволяющие ему интеллектуально

общаться с интересными ему сверстниками. Книга – это универсальный инструмент, с помощью которого расширяется наша сфера жизни. Не дай бог человеку отучиться читать. Зверем он, может быть, не станет, но в животное превратится быстро.

Любовь – дитя романов

Это сказал Стендаль, имея в виду не любовь как секс, а любовь как состояние души. И еще он имел в виду, что мир чувств в каждом из нас, в отличие от наших инстинктов и эмоций, зарождается и расцветает под воздействием художественной литературы. Это, кстати, тот самый Стендаль, которого Эренбург назвал самым современным из старых французских писателей. Единственным, чьи романы читаются с такой легкостью, словно они написаны сегодня.

Правда, тут уместен вопрос, а многие ли читают теперь знаменитые романы Стендаля? Спроси нынешних старшеклассников или студентов-первокурсников, какой из этих романов им понравился больше, что они ответят? Скорей всего, ничуть не стесняясь, зададут встречный вопрос – кто такой, этот Стендаль? Они его не читали. И это беда не только молодежная. Количество читающей публики независимо от возраста продолжает сокращаться уже не первый год.

Почему сегодня книгочеев стало меньше, чем в прежние годы? Даже появились подростки, которые вообще настоящей книги никогда в руках не держали. И, возможно, не то, что в библиотеку, но и в книжные магазины ни разу не заходили. Если еще лет двадцать назад чтение было делом «заразным», то сейчас наоборот эпидемический характер получило нежелание читать художественную литературу.

Отчасти и в немалой степени это случилось по простой причине. Как ни странно, аппетит к чтению приходит, когда книг немного и они в дефиците. А ведь сегодня их – завались. Издается миллион ненужной, второстепенной литературы, которую читать необязательно. Ею завалены все прилавки. Прочитав одну никому не нужную книгу, другую, третью, действительно, можно решить, что проще жить, ничего не читая. Лучше лишний раз по супермаркету пройтись, чем тратить время на чтение.

Но тут проявляется другая особенность. День без книги, месяц, год – и вдруг человек обнаруживает, что привычка читать у него не то, что притупилась, а вовсе исчезла. От человека как будто кусок отвалился. Даже примитивный газетный текст в голову не лезет. Легче телевизор посмотреть. Это потому, что сам ритм чтения, особенно – художественной литературы, оказывается, сильно отличается от того ритма, какой заложен, например, в телепередаче и кинодетективе. Выходит, чтобы книги читать, человек должен владеть неким особым навыком? И, как все человеческое, его легче утратить, чем приобрести?

Получается, что читать книги лучше постоянно. И совсем не потому, что иначе на тебя будут смотреть, как на недочеловека. Хотя и поэтому тоже. Но гораздо важней, что без книг нельзя овладеть совершенно особым состоянием души, которое возникает при чтении художественной литературы. Его можно назвать состоянием «книжной медитации». Дело в том, что как раз способность войти в это состояние и отличает человека от других существ. Оно возникает, когда мир продолжает катиться дальше с бешеной скоростью, а ты, вскочив на книжную подножку, в принципе, тоже продолжаешь нестись вперед вместе со всем миром, но одновременно какая-то другая часть тебя как бы замедляется и начинает наблюдать, разглядывать тебя, несущегося, со стороны. Стремясь понять, зачем и как ты это делаешь. В смысле – чего ради ты со всеми несешься с бешеной скоростью и что надо сделать, чтобы на каком-нибудь вираже ты не разбился.

Это называется самоанализом. Он и включает механизм, перерабатываю_щий бесформенную груду наших инстинктов и эмоций в стройный мир наших чувств. Для того, в частности, чтобы мы научились понимать, что любовь и секс совсем не одно и

то же, и что слова эти, в общем-то, разные, не синонимы.

Сегодня модно «быть как все», но книги как раз для того и существуют, чтобы этому препятствовать. Книга будоражит мысль, формирует отличительные личностные качества, создает индивидуальность. Быть как все книжному человеку не получится. И ему нравится, читая книгу, держать ее в руках, ощущать глянцевитость обложки или шероховатость коленкора и перелистывать шуршащие страницы…

Чем книга лучше, или Что такое четвертое измерение

Оптимисты утверждают, что не пройдет и четверть века, как сетевая книга вытеснит бумажную, и все мы будем читать Пушкина, Толстого и Лукьяненко с Донцовой на экране своих ноутбуков. Так ли это, покажет время.

Однако уже сегодня несколько миллионов человек по всему миру увлекаются блогами и предпочитают читать ЖЖ, а не книги. Привлекает их скорей всего то, что «Живой журнал» можно не только читать, но и писать. Запуская свои записки в мировую Сеть, мы реализуем амбиции «маленького Наполеона», живущего в каждом из нас. Впрочем, дело не только в этом. Участие в ЖЖ многим, особенно тинейджерам, позволяет чувствовать себя суперсовременными людьми. «А ваши книги – сказала мне в этой связи одна моя юная собеседница – это как осетрина с душком. Их же еще надо держать в руках, страницы перелистывать, дышать книжной пылью…».

На эту почти гастрономическую претензию сразу скажу одно. Бумажная книга от электронного чтива отличается как выдержанное вино от крепленого. У него букет другой. Компьютер, конечно же, замечательное изобретение человечества. Однако это не более, чем совершенный инструмент, тогда как литература, и книга, в частности, – это универсальнейшее средство не только для познания мира, но и себя в нем. Книга открывает нам глаза на внутренние процессы жизни, а компьютер в этом смысле часто приводит к аберрации зрения. Книга для знающих в ней толк – ритуальный предмет. И чтение, особенно художественной литературы, – ритуальное действие, можно сказать, изощренный способ медитации.

Отказаться сегодня от книги – то же самое, что спилить дерево, рассчитывая на то, что его можно заменить тентом для тени. Книга точно так же, как это дерево, вещь многофункциональная, чего не скажешь об изображении текста на экране компьютера. Да и вообще книга в компьютере не предметна, а человек по природе своей привык к предметному миру.

Книга, кроме всего прочего, считается кармическим изобретением человечества. Точно так же, как колесо, крыша над головой или, скажем, кружка. За книгой стоит целый духовный мир, как за колесом – простор и движение, или за крышей – покой, уют и многое что еще. Человек, лишенный крыши над головой, сегодня превращается в бомжа. Выбросив из своего жилища книги, мы лишаемся одного из приспособлений, сделавших нас цивилизованными людьми.

Функциональные возможности книги гораздо шире компьютерных, даже если и то, и другое рассматривать только как источники информации. Текст на экране и в книге вроде как бы одинаковый, но информация информации рознь. Все дело в том, что компьютер создавался как инструмент функциональной информации, т.е. нужной для практических занятий и работы. Но ведь есть еще и нефункциональная, или органическая, информация. Это все, что касается культуры, наших духовных потребностей, наших эстетических и нравственных норм. Самым эффективным средством передачи такой информации и считается книга, тем более совершенным и действенным, если она сама по себе, т.е. по своим полиграфическим качествам представляет художественную ценность.

Между прочим, стоит заметить, что те, кто говорит о возможности заменить книгу компьютером, по сути дела никакой ошибки не совершают. Во всяком случае, в отношении самих себя. Так уж они устроены – так воспитаны и образованы – что вполне могут обходиться одной лишь функциональной

информацией. Органическая информация им просто не нужна. Они в ней не испытывают особой потребности и могут без нее жить, как аквариумные рыбки без океана. Спроси их, как они понимают четвертое и пятое измерение, они рассмеются и скажут, что все это чушь собачья.

Нефункциональная информация или, другими словами, те же литература и искусство как раз и обладают уникальным свойством переносить человека из трехмерного мира – условно говоря – в четвертое и пятое измерения. Причем за счет одного только воображения, навеянного книгой (для чего как раз и надо уметь не только различать и складывать буквы, но еще и держать книгу в руках, ощущать ее обложку и перелистывать страницы, т.е. совершать какие-то попутные «шаманские» действия). В этой второй реальности (заметьте – не виртуальной, а психологической) время и пространство работают уже совсем иначе – в сочетании с категориями эстетического и нравственного порядка, что и может быть условно названным четвертым и пятым измерениями.

Что нам милей – картинка или буква?

Продуктивней всего любая информация считывается с книжного листа благодаря нашей привычной для глаза двухступенчатости восприятия. На пространстве книжной страницы мы имеем дело непосредственно с буквенными символами, печатными знаками. Обычно они выстроены в ряд, поэтому чтение связано с линейным мышлением. Поступательным, причинно-следственным и поэтому логическим, когда одно вытекает из другого. А вот в работе с компьютером процесс усложняется. Он становится трех или даже четырехступенчатым. В дело вмешивается картинка. С экрана глаз снимает теперь уже не просто текст с символическими знаками, а прежде всего изображение страницы, на которой этот текст зафиксирован, т.е. картинку. Глазу приходится затратить некоторую энергию восприятия, чтобы перевести изображение в выразительный ряд. А с книгой общаться нам проще и легче.

Кроме того, книга (как живопись и вообще как все виды искусства) играет в жизни человека терапевтическую роль. Это инструмент настройки душевного, а, значит, и физического здоровья, чего нельзя сказать про компьютер. С ним возникают всякие неприятные проблемы – такие, как болезнь глаз, мышечное и позвоночное перенапряжение, психологическая зависимость.

И, наконец, последнее: точно так же, как реклама, компьютер перестраивает наше мышление. Компьютер преобразует наше мышление из линейного в клиповое. Оно становится рванным, отрывочным, фрагментарным. Трудно ведь на экране долго читать большую журнальную статью. Устают глаза и мозг устает. Человек становится нервным. Но главная беда - не усталость, а вырабатывающаяся компьютером привычка и желание, верней, предрасположение читать короткие тексты, похожие на картинку. В результате мы отвыкаем и перестаем иметь дело с толстыми книгами и толстыми журналами. Гораздо охотней мы берем в руки журналы и издания карманного формата. Понимая это, издатели, чтобы «компьютерный человек» не прекратил покупать газеты и журналы, рекомендуют печатать в бумажных СМИ исключительно короткие и примитивно написанные статьи, которые раньше вообще назывались не статьями, а заметками. Они должны восприниматься даже не как текст, а как рекламный плакат или еще лучше как та же компьютерная картинка, легкая для восприятия. Проходит немного времени, и это приводит к тому, что обычным интеллектуальным занятиям – чтению, театру и даже кино – мы начинаем предпочитать прогулки по супермаркетам. Любопытно, кстати, что идеологи диктатуры бизнеса теперь уже заговорили о том, что мы сегодня вступаем в эпоху нового искусства – искусства потребления.

Но длительный дефицит, недополучение органической информации чреваты и более опасными вещами. Компьютер, заменяющий книгу, может оказывать и криминогенное влияние на человека. Мозг имеет свойство уставать от однообразия функциональной информации, выдаваемой компьютером, и начинает испытывать сильный «эстетический голод». Только вот в чем закавыка. Натренированный на нелинейном мышлении мозг, несмотря на этот голод, больше не желает активно воспринимать линейный текст – будь то книжный, театральный и даже музыкальный. И тогда человек, что называется, отпускает вожжи и пускается во все тяжкие, чтобы жизнь брать натурой. Ему хочется острых ощущений. Порог «криминальной готовности» резко опускается, последствия бывают самыми печальными…

Не случайно говорится, что книги восполняют наше чувство гармонии. И даже

в самом прямом смысле: наличие большого количества книг в доме всегда создает совершенно особую атмосферу. Они напоминают о существовании в нашей жизни особой ниши, в которой можно уединиться и черпать из нее душевные силы.

Читать или слушать – вот в чем вопрос

Это одна сторона дела. Есть и другая. Хорошая литература обладает терапевтическим действием. Мы окунаемся в вымышленный, мифический мир, который формирует и упорядочивает наше сознание. Создаваемый профессиональным писателем миф можно назвать намордником цивилизации. Талант настоящего художника в конечном счете служит облагораживанию каждого, кто потребляет его творческий продукт. Так вот, если не потреблять регулярно таких продуктов, мы сами начинаем заниматься мифотворчеством. А это часто чревато разными неприятностями.

Как утверждает доктор филологии, профессор ВГИКа Сергей Телегин, «жизнь бесписьменных народов подчинена не разуму, а эмоциям». Книгу человечество себе придумало не ради удовольствия, а для интеллектуального развития. Теперь, отказываясь от чтения, мы снова все больше и больше даем себя захлестнуть эмоциям и страстям. Обывательское мифотворчество, в отличие от профессионального, художественного, в последнее время дает себя знать все острей. С его развитием человек очень быстро теряет потребность в чтении книг. Но вот что интересно: приученный к узде – чтобы его постоянно каким-то образом контролировали и направляли – он не может резко отказаться от культуры и находит облегченные пути ее потребления. Наверное, наше зрение развивалось медленнее и сложнее, чем слух. Может, поэтому многим из нас сегодня приятней и проще воспринимать информацию ухом. Как бы там ни было, сейчас все больше людей отказываются от чтения книг, заменяя их прослушиванием аудиозаписей. Это становится модно. Аудиокниги появляются в престижных домах. Телегин даже видит в этом увлечении проявление принципиально новой для нас культурной парадигмы – возврат от визуальной к аудиальной ориентации.

Почему – возврат? Это интересный вопрос. Ведь кроме книг в гораздо большей степени мы сейчас увлекаемся видеозаписями. Кино стало как никогда раньше востребованным почти в каждой семье. Получается, что «культура глаза» уступает место «культуре уха» только в отношении книг? Но как раз в этом и кроется проблема. Как возврат это квалифицируется потому, что именно здесь происходит регрессивный процесс. Получив какое-никакое образование, мы затем, если перестаем читать, очень быстро скатываемся к т.н. «вторичной неграмотности». Больше того, отказавшись от чтения, мы рано или поздно начинаем терять и навыки письма. А еще, как считает Телегин, отвернувшись от книг, мы подвергаемся, может быть, незаметным, но неизбежным и глубоким переменам во всей нашей психофизике. Это сказывается и на самосознании, и на восприятии окружающего мира, и в конечном счете на нашем социальном поведении.

А предпочтение звуковой информации в последнее время действительно усиливается. Так, например, многие уже перестали нуждаться в газетах. Зачем их читать, если все новости можно накануне узнать «на слух» по радио и телевизору? Такое отношение к бумажным СМИ появилось вскоре после того, как стало считаться, что они должны ограничиваться исключительно объективной подачей новостей. Без какого бы то ни было анализа, дескать, пусть каждый сам относится к ним, как сочтет нужным.

Самое тревожное последствие «смены парадигмы» – это появление «стадного сознания», «оранжевых революций» и нерегулируемой протестности масс. Не случайно говорится, что демократия предпочитает хоровое пение и не любит солистов. В XX веке книга была самым мощным регулятором сознания. Умными и успешными

было принято считать людей начитанных. Если человек много читал, это значило, что он и много знает. Такие люди ценились. Поэтому чтение всячески поощрялось, в результате чего в мире установился достаточно высокий уровень грамотности. А мы вообще стали считаться страной литературоцентричной.

Но самое главное, пожалуй, то, что степень увлеченности чтением, литературой и книгой выделяла человека из толпы, делало его личностью. Тогда как сегодня все наоборот – в обществе растет безликость и безответственность, а еще и то, что психологи называют «безличной коллективностью» и «бессознательностью восприятия». Такая перемена лишь при поверхностном взгляде ни у кого не вызывает тревоги. На самом деле процесс зашел очень далеко. Телегин даже считает, что наша нынешняя культура стоит на пороге серьезных эволюционных изменений. Но, с другой стороны, считает он, так как предотвратить в этом процессе ничего нельзя, относиться к нему надо спокойно. Он говорит: «Само по себе это явление нельзя считать ни хорошим, ни плохим, и любая нравственная оценка здесь неуместна. Это закономерный факт, естественный результат нашей культуры за последние двадцать лет».

Солнце всходит на востоке, или Психофизика книжного бизнеса

Древние говорили, что люди перестают мыслить, когда перестают читать. Это грозит и нам – ситуация с чтением художественной литературы сегодня «аховая». Молодежь не читает Стендаля, Моэма, Акутагаву… Спросишь, могут задать встречный вопрос – кто это такие? И удивляться здесь нечему. Странно, что они еще не забыли, с какой стороны восходит солнце – на западе или на востоке. Впрочем, если их спросить об этом, не известно, что они ответят.

А незнание литературы в Латвии имеет всем известные причины. У нас давно поставили крест на пропаганде чтения. Даже больше. Складывается впечатление, что у нас все делается для того, чтобы отвратить молодежь от книги. Например, проводится жесткая «оптимизация» библиотек – библиотеки закрывают, а книги свозят на склад. Так за один только год в центре Риги были ликвидированы четыре городских библиотеки. Читать книги стало негде.

Что хорошо покупателю – плохо бизнесмену

Покупать тоже становится все трудней – растут цены. И не дай бог, если они где-нибудь начнут снижаться. Бизнес сразу заходится криком, что это лишает его честно заработанной прибыли.

Так, в связи с упавшим спросом на художественную литературу, в некоторых книжных начали открываться аутлеты. Книги выставлялись по самой доступной цене. Иногда чуть ли ни за лат штука. Но тут же с отповедью выступила тогдашний председатель ассоциации книготорговцев Инара Белинка: «Я к этому отношусь отрицательно. Чтобы получить хоть какие-то деньги, торговцы стали продавать книги, например, по лату. Но такая цена даже не покрывает расходы на печатание книги. Покупатели, конечно, этому обрадовались, но я считаю, что это начинание подрывает отрасль и вводит читателей в заблуждение. Хорошо изданная книга не может стоить дешево. Времена, когда книжную продукцию дотировало государство, давно прошли».

Да, эти времена прошли. Но разве было что-то нехорошее в том, что государство на протяжении полувека находило возможность издавать недорогие книги? Этим поощрялось чтение, благодаря чему, между прочим, в гигантской стране удалось сравнительно за короткий срок ликвидировать массовую безграмотность и добиться всеобщего образования.

Сделать это государство смогло именно потому, что во главу угла были поставлены интересы не издателей и книготорговцев, как это происходит сейчас, а покупателей и читателей. И потом - что значит дотировать книжную продукцию? Это чудовищно близорукий, зашоренный интересами бизнеса подход. Дотировалась не книжная продукция, а нечто гораздо большее. В общегосударственном масштабе финансировалось все книжное дело. Включая деятельность издательств, писательских организаций и библиотек.

Делалось это, конечно, совсем не для того, чтобы дать кому-то заработать. Пора уже подняться выше интересов частного бизнеса и посмотреть на ситуацию в книжном мире с точки зрения проблемы повышения культурного и общеобразовательного уровня нынешнего общества. Кроме того, говорить о книжном деле только как о бизнесе вообще нелепо. Это все равно, как если бы акушерка, принимая роды, заботилась только о том, чтобы ей за это побольше заплатили. Человек рождается – причем тут бизнес! То же самое с книгами: homo читающий как бы рождается еще раз, в новом качестве. А вы – про бизнес!

Бизнес бизнесу – рознь

Но даже если считать книжное дело бизнесом, то это бизнес совсем иного рода. И думать здесь надо не столько о прибыли, сколько о том, чтобы книги были доступны людям с любым уровнем доходов.

Это замечательно, что стали появляться книжные аутлеты. Книги вообще должны стоить дешево. Независимо от того, как они изданы.

Кстати, что, собственно, имела в виду Инара Белинка, сказав, что – я цитирую – «хорошо изданная книга не может стоить дешево»? Ее товарный вид или что-то другое? Дорого может стоить только раритетное, коллекционное издание. Что же касается качества современных книг, оно оставляет желать лучшего по всем статьям. Издаваемые сегодня книги непрочно сшиты. Бумага скверная. Обложки делаются из некрепкого картона и покрываются глянцем, который держится недолго... В советское время книги издавались несравнимо лучше.

Кроме того, хорошо изданная книга – это не только прочность и внешний лоск, но и наличие в ней предисловия или послесловия, комментариев, примечаний, дополнительного справочного аппарата, наконец, иллюстраций и художественного оформления. Сегодня книги этим требованиям за редким исключением не отвечают. Так что, перефразируя сказанное Белинкой, они наоборот не могут стоить дорого. Как товар, сегодняшняя книга – дешевка. И в любом случае она должна быть по карману каждому, для кого она издается. Кстати, не только затем, чтобы любой ее смог себе купить, но и для блага самого государства. В его интересах, чтобы население как можно больше читало и было бы грамотным и образованным.

И, наконец, последнее. О какой сверхприбыли в книжном бизнесе может идти речь, если автору книги сегодня платят гроши? Или здесь умышленно все устроено так, чтобы наживаться за счет автора? Ведь получается, что причитающиеся ему деньги кладут себе в карман издатель и книготорговец. Неужели только потому, что писательский труд бизнесом не считается? Но если так, правильно ли называть бизнесом все, что связано с продвижением книги к читателю?

Где и как покупаем

Мне так и не удалось выяснить, сколько магазинов в Риге торгуют русской книгой. Похоже, что у нас такой статистики нет. Но если учесть, что в Париже книжных примерно три тысячи, а в Москве – около трехсот, и продолжить эту арифметическую обратную регрессию, то в Риге магазинов, где можно купить русские книги, штук тридцать наберется точно.

Тем более, что одна только наша торговая сеть «Полярис» располагает более чем десятью магазинами и торговыми филиалами в супермаркетах. Кстати, из-за этих филиалов, вероятно, и нельзя установить точное число магазинов, потому что не ясно, что считать магазином, а что филиалом. Впрочем, важно не это.

Речь о том, достаточно ли такого количества для Риги или нет? Наверное, все же недостаточно. У нас целые районы города обескнижены. Например, негде купить книгу в Межапарке. Оголены прежде традиционно «книжные» улицы в центре города – Тербатас, Бривибас, Валдемара… На Валдемара единственный магазин издательства «Зинатне» совершенно обходится без русских книг. Ограничен выбор русской книги даже в таких больших магазинах как «Яня Розес граматница» и «Валтерс ун Рапа».

С другой стороны, наблюдается интересная вещь. В некоторых магазинах русские книги часто представлены в одном-двух экземплярах, но, тем не менее, лежат не востребованные не то что неделями, но месяцами. Причем не какие-нибудь третьеразрядные издание, а из золотого фонда мировой литературы. Те, что двадцать лет назад были бы мигом раскуплены в любом количестве. Это романы Хемингуэя, Ремарка, Апдайка, Эко, Гессе, Моэма… Я уж не говорю о серийных изданиях русского и зарубежного классического романа. Или о книгах

Набокова, Нагибина, Гранина, Трифонова – великолепных русских стилистов и рассказчиков. Все это подолгу лежит без движения. То же самое можно сказать о великолепной юношеской и приключенческой литературе.

Почему покупаем «не то»

Причин тому три. Самая ужасная – перевелась читающая молодежь. Раньше книги часто покупались старшими в расчете на подрастающее поколение. Сегодня тинейджеры читают мало и неохотно. Многие из них не читают вообще. И это, на мой взгляд, просто чудовищно.

Вторая причина – конечно же, дороговизна. Цены не соответствуют товару и его предназначению. Часто они вообще устанавливаются с потолка, исходя не из себестоимости книг, а исключительно из расходов и потребностей торговцев. Невозможность купить нужную книгу только потому, что она не по карману и вымывает из контингента покупателей обычно малообеспеченных знатоков и ценителей литературы. Интеллигентный, образованный читатель в лучшем случае обходится библиотеками. Или интернетом.

И как следствие – причина третья. Покупатель сегодня в массе своей пошел не знающий ни книг, ни что происходит в книжном мире. Он не знаком с хорошей литературой. Он падок на раскрученных, модных авторов, а продавцы и рады стараться – впаривают ему никем еще не апробированные скороспелки типа шедевров Сорокина, Пелевина, Минаева, Робски и огромное количество женских романов. Тем более, что именно эти книги стоят дорого. И отсюда же еще одна беда – такие книги не задерживаются на полках домашних библиотек. Потому что никакой эстетической или познавательной и уж тем более воспитательной ценности они не представляют. Покупатель, принеся их домой и пролистав, понимает это и совершенно ими не дорожит. Перечитывать там нечего, а давать подрастающим чадам незачем. Вот и результат – книги он вроде покупает, а домашняя библиотека из них не складывается.

Бизнес латышский и бизнес русский

А почему в последние два-три десятилетия так бурно развивалась латышская книготорговля?

Ответ простой. Совсем не потому, что, можно подумать, латышские авторы стали больше и интересней писать. Наоборот, качество современной латышской литературы за последние два десятилетия снизилось точно так же, как и современной русской. А расцвели латышские книжные магазины за годы перестройки и независимости только потому, что на латышском языке стало во много раз больше издаваться всего самого лучшего, что за минувшие века создано в мировой литературе.

На прилавки в латышском переводе сейчас впервые выбрасывается большое количество первоклассных старых иностранных писателей, с книгами которых русский читатель познакомился намного раньше, еще в 60-70-е годы. В одном потоке с ними хорошо продается на латышском языке и современная западная литература, даже неперворазрядная.

С русским книжным бизнесом сейчас происходит совсем другая история. Открытием для русского покупателя становятся не мировые шедевры, которые сегодня издаются уже в третий и даже в четвертый или пятый раз, а вся, по сути дела, мелочевка, которая раньше на русский язык по разным причинам не переводилось. Но тут случился облом. Оказалось, что это – в основном литература второсортная и даже третьесортная. Поэтому, когда ее теперь выбросили на прилавок, покупатель на нее не клюнул. Из-за чего издателям и пришлось перейти к политике малотиражных изданий. А это в свою очередь повлияло на все книжное дело в целом. И на то, что книги сегодня слишком дороги во многом потому, что мал тираж и что не так

велик, как в прежние времена, на них спрос. И низкие гонорары – тоже отсюда.

Получается парадокс. Вся надежда теперь, как это ни странно, на какой-нибудь очередной кризис. Может, он все расставит по местам. Заставит издателей и книготорговцев снизить цены. Соответственно, конечно, придется повысить тиражи. От этого и спрос на книги может стать выше, и авторские гонорары увеличатся. Ведь ни для кого не секрет, что в советские времена при сто- и двухсоттысячных тиражах, несмотря на очень низкие цены, книжное дело все же приносило государству прибыль. Надо, конечно, и интерес к чтению раскрутить, чтобы покупали больше. Иначе ситуация с книжным бизнесом будет только ухудшаться. Дело может дойти даже до того, что и само понятие «современная литература» перестать существовать. Это совсем не исключено, если никто из нынешних авторов не захочет практически даром писать новые книги.

Вавилонская башня

Как-то на одном из популярных телевизионных ток-шоу – это было под конец 90-х – зашла речь об интернете и культуре. Встал Бари Алибасов, натура артистичная, руководитель ансамбля «На-на», и сказал, что две с половиной тысячи лет культура насиловала человека. Теперь, слава богу, пришел интернет, он освободит человека от культуры. На что Святослав Бэлза, литературовед, культуролог тут же ответил: я всегда думал, что ничего хуже интернета нет и быть не может. Теперь я знаю, хуже интернета – Алибасов.

Проблема взаимодействия интернета и культуры сегодня беспокоит многих. Преимущественно, конечно, старшее поколение, потому что молодежь все, что модно, воспринимает с восторгом. Но интер-нет не модное поветрие. Это революция, создающая свою особую культуру. А каждая новая культура имеет свойство вытеснять культуру прежнюю.

В принципе, ничего страшного в этом нет, это даже нормально. Но иногда все-таки стоит задуматься: кому это надо и кому это выгодно? Самим носителям и создателям новой культуры, как было, например, в 60-е годы, когда шестидесятники сами создавали культуру для себя? Или… Или ее пользователям? Ведь сейчас совершенно очевидно, что поколение девяностых и нулевых ничего не создает и, в частности, интернет-культуру тоже создает не оно. Оно только пользуется ею. Когда входишь в интернет, тебя там так и обозначают – пользователь. То есть потребитель. Ничем не отличающийся от сегодняшнего потребителя всего остального. Тебе предлагают что-то в красивой глянцевой упаковке, и ты это потребляешь.

Несет ли нам интернет угрозы и риски? Несет, конечно, как все новое. Проблема в другом: насколько они опасны и неизбежны.

Я согласен, что интернет сегодня – огромное благо. Но сами интернетчики признают, что зло он несет в себе тоже. Причем именно как культура. А благо – только как инструмент. И это надо различать.

Как культура он опасен, потому что ожесточает размежевание поколений. Дети и родители, молодежь и старики окончательно и катастрофически перестают понимать друг друга. Такое впечатление, что опять рухнула Вавилонская башня, и все мы вдруг заговорили на разных языках. Появились целые пласты лексики, которыми свободно владеет поколение девяностых и совершенно не владеет огромный процент людей постарше. И одновременно лексика, например, тех же шестидесятников становится непонятной их детям и внукам.

Есть и другие риски. Считается, например, что интернет обладает тремя основными достоинствами. Первое – это уникальный источник информации, кладезь интеллекта. Второе – он предоставляет широкие возможности для общения с единомышленниками. И, наконец, третье – это замечательное средство для самовыражения каждого индивида.

С первым нельзя не согласиться. Хотя, по сравнению, например, с библиотеками, никогда ничего хуже организованного, чем интернет, я не видел.

Что касается третьего, вряд ли это хорошо, что любой человек, за счет времени и средств других людей, может в интернете свободно самовыражаться. Даже, если он гений. Самовыражение плодотворно, когда преодолевает сопротивление среды. Это аксиома. Кроме того, для человечества полезней прозевать одного гения, чем пропустить сквозь сито своего сознания тысячи посредственностей. Гений не может считаться гением, если не способен доказать свою гениальность.

А вот что касается второго достоинства

– это просто блеф. Общение надо понимать не только (и не столько) как процесс установления контакта с собеседником. Будь так, к нам на улице на каждом шагу кто-нибудь подходил и предлагал пообщаться. Как это называется, всем известно. Общение – это состояние души с тремя непременными составляющими. И лишь первую составляющую – информационно-интеллектуальную – способен обеспечить интернет. Но ведь она не главная. Почему, собственно, и происходит то, что люди, сидящие в интернете днями и ночами, постепенно дичают и начинают страдать разными недугами.

Главными составляющими общения, пожалуй, надо считать две других – психологическую и физиологическую. Без них нормальное, здоровое взаимодействие человека с человеком исключено и невозможно. Но наличие этих составляющих интернет обеспечить неспособен. Вот почему он, во всяком случае по части общения, просто-напросто опасен и вреден.

Это только главные угрозы и риски, порождаемые интернетом. Существует еще много других. О них сейчас часто говорят и пишут. Можно ли им противостоять? И не означало ли бы это противостоянием интернету вообще? Тем более, что здесь есть один нюанс: от интернета нельзя отказаться полностью. Как в том случае, когда говорят: ты его в дверь, а он в окно. Проще отказаться от культуры – Алибасовых сегодня много.

Выход из создавшегося положения есть, и заключается он не в противостоянии. Риски на то и риски, чтобы их избегали. Это как было с театром, когда появилось телевидение. Тогда многие считали, что театр отомрет. А он только окреп и стал еще интересней и популярней. Потому что его берегли, холили и развивали. Театр даже стал в известном смысле противоядием от телевидения. Когда надоедает смотреть в «ящик», мы идем в театр. И получаем там большое удовольствие и хороший заряд энергии.

Таким противоядием от интернета становится бумажная книга, чтение хорошей литературы, напечатанной типографским способом. Это как в знойный день выбраться из города в лес. Один вечер с хорошей книгой способен снять «интернетный синдром». А так как стоящую и серьезную книгу за один вечер не прочитаешь, ее терапевтическое влияние может стать длительным.

Язык компьютерных технологий – это технический язык, подсобный. К нему так и надо относиться – как к подсобному, служебному. И к интернету надо стараться относиться тоже как к рабочему инструменту. Пользоваться им ровно столько, сколько это требуется для дела. Ведь смешно же было бы, если бы землекоп ложился спать с лопатой. Интернет – это всего лишь универсальная лопата, с помощью которой можно нарыть много полезного. Если не впускать интернет в частную, личную жизнь, никакие угрозы и риски не будут страшны.

Тем более, ничего совершенней линейного мышления, человек пока что не создал. Отказываться от линейного мышления – себе дороже.

Была жара…

В жару хорошо играть в шахматы. С компьютером. Тихо поругиваясь, когда зевнешь очередную фигуру. А вот читать не хочется. Интересно, почему? Чтение, наверное, требует совсем иного внимания. Всепоглощающего. И умения сконцентрироваться. Весь уходишь в книгу.

Что наш мозг воспринимает, когда мы играем в шахматы? Логику игры. Логику движения фигур, имеющих разные функции. Шахматы относятся к логическим играм. Может быть, это простейшее чудо из множества чудес, на которые способен наш мозг? Испытывать чувство радости или удовлетворения, когда выигрываешь, или досаду от проигрыша?

Глядя на картину или на живой пейзаж, мы используем мозг иначе. Зрительная информация преобразуется в эстетическое чувство. У нормального человека. Причем чувство это тем сильней, чем талантливей написано полотно. Живая природа действует на нас так же, но слабей. Если, конечно, не воспринимать лес как своего рода скопище пиломатериалов.

Здесь многое, наверное, зависит от мастерства интерпретации. Шахматы – игра логическая. Искусство – тоже игра, но интерпретационная. Для зрителя. Театр, живопись, архитектура – как глубоко мы их воспринимаем, зависит от того, насколько мы искусны в интерпретации.

Этот же навык помогает нам и общаться друг с другом. Хорошее отношение к человеку зависит от того, как глубоко мы его чувствуем, как воспринимаем его поступки. Чем лучше мы натренированы в интерпретации, тем легче нам в отношениях с окружающими людьми и тем проще мы приноравливаемся к окружающему миру.

Музыку мы воспринимаем слухом, живопись – глазами, книжный текст – тоже глазами. Но что мы интерпретируем, когда читаем? Ведь не значки же и всякие закорючки. Получается, что интерпретация вообще происходит не на уровне красок, звуков, форм или, например, слов при чтении. Слово – оно и есть слово как значение буквенных сочетаний.

А что мы интерпретируем, общаясь с человеком, с животными, с природой? Мы интерпретируем смыслы, возникающие при сочетании разных элементов.

Мы имеем дело со смыслами, рожденными красками, звуками, движениями и, соответственно, словами. Каждый по-своему истолковывает эту информацию, комбинирует, как вычислительная машина, и по-своему ее понимает. Но это еще не интерпретация. Иначе сколько человек прочло бы книгу, столько было бы и совершенно разных впечатлений.

Интерпретация – это что-то более сложное. В интерпретации важно что-то другое, общепринятое для всех. Как правила игры в игре. Может быть, логика? Логика поведения или логика мышления? Нет, человеческий опыт. Это лучше назвать опытом – память о том, как должно быть и как быть не должно. Еще это называется общечеловеческими ценностями. С ними мы соотносим свои личные впечатления. Для одних это ценности этические, для других – житейские. В итоге у нас обычно обо всем существует не множество мнений и не одно, а, как правило, два. Как за и против. Положительное и отрицательное. Это уже интерпретация; вещь, оказывается, совсем не простая.

Сложней всего использовать искусство интерпретации, когда читаешь. Вот тут и оттачивается по-настоящему эта способность. Особенно при чтении стихов и прозы.

Кошка, глядя на картину, может быть, тоже различает цвета или формы или что-то там еще. Собака совершенно точно различает действия, например, движения рукой – встать, лечь. Не знаю, как у них со смыслами, но что

они не видят разницы между буквенными сочетаниями – это точно.

Человек мало что эти сочетания различает, он еще и удовольствие от чтения получает. Правда, когда на градуснике за тридцать, читать уже не хочется. Жара! Только это и вертится в голове. Что тут интерпретировать? Хоть бы они уже свой коллайдер отключили, может, тогда похолодает?

А выигрывать у компьютера приятно…

Срез четвертый. ЛЮДИ И КНИГИ

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Дени Дидро

Птица Феникс с моноклем на черном шнурке

Петр Пильский в русской эмиграции был фигурой заметной и почитаемой. О себе он говорил – я человек бывалый и опыт у меня небывалый. В смысле – помытарила его жизнь, помотала по городам и весям. По России поездил, и в Бессарабию заносило, и в Польшу… А последнюю треть отпущенных ему лет он прожил в Риге. С заездом ненадолго в Таллинн.

Но, несмотря на весь его «небывалый опыт», глядя из дня сегодняшнего, можно сказать, что от самого страшного, что выпало пережить многим его современникам, судьба Петра Пильского уберегла. Пильский умер в 1941, так и не шагнув во вторую половину той сложной эпохи, которая называется двадцатым столетием. Вторая мировая война, ее исход и последствия, до сих пор определяющие наше житье-бытье, для него просто не состоялись.

И еще одно: Петр Пильский хоть и был человеком шумным, общительным и компанейским, в свою личную жизнь никого не впускал. Поэтому известно о нем немногое. Информацию приходится собирать по крупицам, и она достаточно противоречива. Но ясно одно - жизнь у него задалась сразу. Вот только метил он в прозаики (о его юношеских рассказах многие отзывались чуть ли не с восторгом), но в конце концов верх взяла журналистская жилка.

Самое раннее упоминание о нем как о человеке уже определившемся и получившим имя я нашел в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Это конец 1918, начало 1919 года. Киев. Власть в городе не понятно чья. Эренбург ироничен и язвителен: «Петр Пильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой Германской республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молол не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу – французскую или немецкую».

Более детальную характеристику дает Пильскому Марк Слоним: «Были в нем замашки и привычки богемы, он дневал и ночевал в кафе и ресторанах, обожал разговоры до утра в каком-нибудь «литературно-артистическом клубе», любил возбуждение от вина, атмосферу дружбы, споров и ссор, перекрестный огонь шуток и эпиграмм, игру флирта и влюблений, беспорядок и толчею случайных вечеринок и непринужденных пирушек».

Еще один портрет Пильского с натуры оставила нам Ирина Сабурова в романе «Корабли Старого Города», он там фигурирует под вымышленным именем: «Караваев грузно сидит, опираясь на палку с малахитовым набалдашником. У него полные, очень белые, слишком маленькие для мужчины руки, седая грива, орлиный профиль, монокль на

черном шнурке. Один глаз всегда полузакрыт тяжелым веком, как у задумавшейся птицы, на губах улыбка /…/ Разговоры с Караваевым заключались в том, что он произносил монолог, а собеседникам оставалось восхищаться и вовремя подавать реплики. Говорить Караваев мог обо всем и обо всех сколько-нибудь знаменитых людях, от Мамонта Дальского до Александра Македонского, так как любые воспоминания сводились к тому, что именно, когда, где и как он, Караваев, видел, сказал и ответил».

Несколько иное описание я прочитал уж теперь и не помню где: «У Пильского была ироничная лисья мордочка с умными недобрыми глазами». И там же, как нож в сердце: «Петр Пильский – маленький, тщедушный, озлобленный…»

Сложный, конечно, он был человек, не простой. Любил прятаться за псевдонимами, словно боялся скомпрометировать себя не достойным его текстом. Свой детективный роман «Тайна и кровь», на который потратил уйму времени, энергии и фантазии, Пильский, не поверив в себя, издал под псевдонимом Петр Хрущов. Под своей собственной фамилий он позже издаст пару книг воспоминаний –«Затуманившийся мир» и «Роман с театром». Это записки о людях, с которыми Пильский был хорошо знаком. Обе книги воспоминаний и роман Хрущова – то немногое, что можно легко отыскать в библиотеках.

Его статьи и рецензии – литературные и театральные – обильно рассыпаны во многих российских средствах массовой информации тех лет. И, в частности, на страницах рижской газеты «Сегодня» и еще нескольких здешних изданий. Но выйти на них непросто из-за того, что он часто подписывался не своим именем. А псевдонимов у Пильского было большое количество. Его и по жизни называли по-разному – кто Павлом Моисеевичем, кто Мосевичем или Мосеичем, а то и вовсе Осиповичем.

Пильский умер, когда в Ригу вошли немцы. Сперва у него случился инсульт – перед самым приходом советских войск. И сразу к нему на квартиру явились с обыском: перерыли все, унесли весь личный архив, после чего его и разбил паралич. Хотя что искали, неясно. Повод для ареста? Так ведь забрать могли и без повода, просто за политический памфлет многолетней давности. Считается, что Пильского не арестовали только из-за паралича. А так мог загреметь под расстрел – за побег в 1918 году из-под следствия. Тогда дело Пильского расследовалось в ревтрибунале. Друзья чудом выцарапали его на поруки, под расписку о невыезде. А он – деру, на юг и дальше.

Пильского в 1918 году собирались судить не просто как антисоветчика, но конкретно – за печатный поклеп на большевиков и советскую власть. Статья называлась «Смирительную рубаху!». По словам Куприна, автор в ней со всей серьезностью, опираясь на новейшие достижения психиатрии, диагностировал лидеров большевистской партии «по видам их буйного сумасшествия» и настаивал на принудительном лечении «с применением горячечной рубашки».

Через три года беглец осел в Латвии, рассчитывая, что тут до него не доберутся. В Риге Пильский жил по-королевски. Почти сразу получил место в очень популярной газете «Сегодня». Был вхож в самые высокие круги русской эмиграции, почитаем, привечаем и уважаем.

Все его газетные статьи о литературе и театральные рецензии читались обычно с большим интересом. Он писал пышно, цветисто, с претензией на художественность. Считал себя импрессионистом и, отчасти, таковым и являлся. Только отчасти, потому что хоть и ставил импрессию – то есть впечатление – во главу угла, но не столько свое от увиденного спектакля, сколько впечатление читателя от своей статьи. В театральной среде он был душой общества и считался чуть ли ни живым классиком русской критики.

Ни в Москве, ни в Питере он таким престижем при всех своих талантах никогда бы не пользовался. Там он был одним из многих, а в Риге… Уже в наше время о рижском периоде жизни Пильского кем-то сказано с придыханием: «…он читал лекции и проводил бесчисленное множество литературных вечеров. Он был поистине

почтовой лошадью просвещения. То, что в Париже совместными усилиями делали в области критики Г.Адамович, В.Иванов, В.Вейдле, Вл.Ходасевич, в Риге проделывал один Пильский».

Был ли он сам удовлетворен своей деятельностью?

Двадцать лет просидеть в одной газете – не шутка. Правда, «Сегодня» пользовалась широкой популярностью не только в Риге. Газету читала почти вся европейская русская диаспора. Возглавляя отдел, Пильский имел возможность привлекать всех, кого считал нужным, и печатал у себя многих лучших авторов того времени – Булгакова, Куприна, Бунина, Северянина, Шмелева, Бальмонта… И все же какой-то червь точил его душу.

Он был мастером литературно-мемуарных очерков, но в каждом из них неизменно скатывался в российскую жизнь. Такое впечатление, что русские рижане ему были неинтересны. А ведь в 20-30-е годы здесь жили немало известных людей, и, в отличие, например, от послевоенного и уж тем более нынешнего периода, литературная жизнь в Риге, действительно, била ключом. Но…

В одном из очерков он пишет, что рижская писательская среда слишком уж тиха и невыразительна. На ней «лежит оттенок некоторой внутренней и даже внешней чопорности. Она чувствуется и в костюмах: чаще всего встречается черный цвет пиджаков и смокингов. Здесь отсутствует душевная интимность. Редки шутки, и едва ли можно создать дружеский юмористический журнал (до бегства из России Пильский сотрудничал преимущественно в юмористических журналах. – Г.Г.) с веселыми эпиграммами, приятельскими пародиями, словесными карикатурами, смеющийся дневник-летопись наших дел, промахов, вечернего литературного безделья».

Пильский всегда как отдушину вспоминал газетно-журнальную жизнь в России после первой революции. Сам он вырос в Москве, жил и вращался в изысканной литературной среде, где блистали Аверченко, Саша Черный, Куприн, Блок, Чуковский. Затем недолго служил в армии в Минске и, вернувшись опять в Москву, с головой и навсегда ушел в литературную жизнь. Вспоминал об этом времени: «Тогда беззаботно жилось, и душа весело прыгала, как весенняя птица в золотой клетке, и перо легко бежало по бумаге, и мысль летела дерзкой стрелой, и все казалось таким простым, таким достижимым, будто забавляющийся принц вышел на утреннюю охоту». Это я цитирую одно из его рижских эссе, напечатанное в 1925 году.

Революция застала Пильского в Петрограде, где на пару с Куприным он редактировали эсеровскую газету «Свободная Россия». После революции Пильский поработал недолго в сатирическом журнале «Эшафот», потом подался в Киев – издавать ту самую «Чертову перечницу», которая упоминается в мемуарах Эренбурга.

Короче говоря, Пильский был на самом взлете и нарасхват, когда черт дернул его поместить в «Петроградском эхе» свой фельетон «Смирительную рубаху!». Московские и питерские журналы и газеты печатали его фельетоны, статьи и даже стихи охотно и часто. Он чувствовал себя начинающим писателем, которому в будущем грезилось многое. И действительно он был на очень хорошем счету, так что ничего удивительного, что группа тогдашних литературных знаменитостей подала в ревтрибунал бумагу с прошением отдать им талантливого литератора на поруки.

А вот заканчивать жизнь, как ни досадно, пришлось на европейских задворках. В провинциальной Риге. В Латвии, где ему как литератору ничего не светило. Почва здесь всегда была какая-то не литературная. Не способная рожать ни мудрецов Платонов, ни быстрых разумом Невтонов. Пильский это хорошо понимал. Потому его воспоминания – и книга «Затуманившийся мир», и «Роман с театром» – были повернуты лицом к России. Может, в глубине души он еще на что-то надеялся? И не потому ли антисоветские настроения Пильского после улмановского переворота тоже поутихли и сошли на нет? Петр Якоби обронил фразу – после 34-го

года Пильский «Советский Союз больше не задевал».

…Тоска заедала. Пильскому катастрофически не хватало русского креатива. Газетная рутина стала его доставать. И попивать стал больше обычного. Похоже, эта во все времена широко распространенная в Риге болезнь не обошла Пильского стороной. Куприн как-то мельком упомянул, что рижские письма Пильского так «пропитаны ромом», что не всегда удается разобрать, что он написал.

Все чаще и чаще, как болезнь, Пильского тянуло на воспоминания о журналистской жизни в России. Там он даже – смешно сказать – ударился в просветительство. Создал первую в России Школу журнализма. Решил, что необходимо обучать одаренную, начинающую ребятню, как надо работать в СМИ. Обучение было поставлено на широкую ногу. Лекции и занятия проводились по сорока двум предметам. В школе преподавали лучшие профессора, доценты и журналисты Москвы. Но это уже был 1918 год – год проклятой «Смирительной рубахи», когда пришлось срочно «делать ноги».

Почему-то в Риге просветительские идеи по части пишущей молодежи Пильскому в голову уже не приходили. Наверное, такой молодежи в наличии просто не имелось. Рижская жизнь, короче говоря, была рутинной, от которой спасал только театр. Как спасает в знойный, душный день прохлада полупустого кафетерия. Даже в самом прямом смысле: весной ли, осенью иногда стояла – скажем, в мае или в сентябре – такая жара, от которой в городе спасу не было. А зайдешь в театральное фойе, как будто в другой мир попал.

Театр – это вообще всегда что-то особенное. Если, конечно, отношения у тебя с ним нормальные. Это совершенно необычная праздничная атмосфера; для того, чтобы прочувствовать ее, достаточно прийти в театр минут за сорок-тридцать до начала спектакля. Когда еще нет никого из зрителей. Сидишь один в буфете за чашкой кофе, чая или чего-нибудь покрепче и смотришь, как постепенно стекается народ. Как праздная публика заполняет буфет. Как театральные программки сперва откладываются в сторону будто что-то лишнее: пока не подкрепятся, программку никто не открывает. А ты, наоборот, углубляешься в нее, деловито просматриваешь список исполнителей, кто что играет. И вот уже, пока остальные заняты своим кофе с пирожными, у тебя складывается образ спектакля, и в голове мелькают первые фразы будущей рецензии. О чем писать, еще не думаешь, но блаженное чувство покоя охватывает, когда, пробегая глазами перечень исполнителей или аннотацию к спектаклю, вдруг откуда-то всплывает первая фраза будущей статьи, а то и несколько. Ведь это важно – правильно начать статью, чтобы зритель, видевший спектакль, через пару дней раскрыв газету, зацепился глазом за первый абзац. Тогда он уже непременно прочтет всю рецензию.

Театральные статьи Пильского в «Сегодня» все читали с интересом. Часто они были резкие, иногда покладистые и очень редко снисходительные. Недаром героиня романа Сабуровой «Корабли Старого Города», выступившая в роли драматурга, смертельно боялась увидеть на своем спектакле «сурового критика» и так же сильно хотела, чтобы он пришел и высказал свое мнение.

Обычно сам Пильский испытывал от своих театральных статей гораздо большее удовлетворение, чем от всего, что писал о литературе. Наверное, потому, что театр для него составлял часть реальной жизни, свершившейся только что на его глазах. Пильский был вхож в коллектив Русской драмы, можно сказать, жил с ним, участвовал в его делах. Да и зрителя он тоже прекрасно чувствовал. Но, главное, благодаря всему этому, его театральные статьи не ухали безответно в какую–то неведомую пропасть, как брошенный в колодец камень, а вызывали живой отклик. У актеров, у зрителя, наконец, дома. Как-никак жена Пильского прекрасно разбиралась в театральных делах, ведь она была актрисой.

Елена Кузнецова служила в труппе Ревельского Русского театра. Так что, кстати говоря, совсем не случайно, недолго побыв в Риге, куда он прибыл в 1921, Пильский

отправился в Таллинн и прожил там ни много ни мало с 1922-го по 1926 год. Скорей всего он там и остался бы из-за жены, если бы не известная на всю русскую диаспору газета «Сегодня», выходившая, к сожалению, в Риге. Что он будет работать в ней, Пильский знал наверняка. Иначе просто негде было.

Ну и, наконец, Пильский был на короткой ноге со многими известными людьми рижских театров. Вообще у него, кроме сибаритского желания постоянно получать удовольствие, находясь в гуще театральных событий, была на этот счет совершенно твердая позиция критика. В своем эссе «Литературные края», еще будучи в Ревеле, он в 1923 году напишет об этом очень подробно. Преподаст, так сказать, всем маленький урок: «Предостерегаю вас от претензий на роль театрального рецензента. На это амплуа хотят все. Есть возраст, которому льстит знакомство с актрисами и вселяет гордость сознание, что он может влиять на судьбы и интересы театра. Кроме того, кому не хочется иметь бесплатное место в театре? Но помните, что рецензентское место требует очень больших знаний и жертв. Театральному критику нужно знать не только сценическое искусство, но еще и многие закулисные отношения и связи, чтобы не быть пойманным в сети интриг, взаимных счетов и хитрости…».

Пильский прекрасно ориентировался в закоулках театрального закулисья и был на короткой ноге со всеми, с кем считал нужным быть знакомым. Хорошо знал Михаила Чехова, который долгое время, до самого отъезда в Америку, работал режиссером в латышском драматическом театре. Знаком был и с Фокиными, и с Александрой Федоровой, которую даже в советское время у нас называли бабушкой (в смысле прародительницей) латышского балета, и со многими актерами рангом пониже. Особая статья – его многолетняя дружба, несмотря на разницу в возрасте, с Федором Шаляпиным. Почти все свои рижские гастроли Шаляпин не расставался с Пильским. Они даже вместе собирались купить где-нибудь под Ригой дом на деньги Шаляпина…

О каждом из этих «великих чудищ», о спектаклях с их участием Пильскому приходилось писать постоянно. Но больше всего им написано о Русской драме. Ее он ставил необычайно высоко: «Это подлинный театр, – говорится в одной из его статей. - Его состав, его негасимая жажда репертуарного обновления, его декорационная живописность, опрятность постановок, репетиционная тщательность покорили сердца театралов, создали почетное имя большого, хорошего Русского драматического театра».

Театр Русской драмы он посещал до последней возможности. И в последний свой год, когда Пильский, парализованный, лежал после инсульта в постели, ему больше всего не хватало вот этого волшебного ощущения праздничности, которое он ощущал каждый раз, войдя в людное театральное фойе.

Георгий Иванов и его мемуары

Мы сегодня живем одним днем и осваиваем западные ценности так, словно мы первопроходцы какие-нибудь, и ни одному русскому этого раньше делать не приходилось. Но если почитать мемуары белоэмигрантов, мы не только поймем, что мы не первые, но и что ситуация у них была покруче.

Хорошо там, где нас нет, – эта поговорка, наверное, типично русская и именно про русских. Поискать надо такого эмигранта, который всю жизнь не мечтал бы вернуться в Россию. Известный русский поэт, может быть, даже самый крупный в русском зарубежье за все времена, Георгий Иванов – эмигрант с 1922 года – он тридцать лет спал и видел, как возвращается в родные пенаты. Но дальше Риги, куда судьба изредка заносила его с женой, тоже крупной поэтессой – Ириной Одоевцевой, ему попасть суждено не было. Гуляя по рижским улицам, он дышал нашим воздухом, и ему мерещились Петербург и Москва, что нам с вами, между прочим, никогда не мерещится. Но ведь и стихов таких, как у него, и прозу нам тоже сочинять не приходилось.

Полистать его однотомник «Мемуарной прозы», который в рижских магазинах кое-где еще попадается, – этот совершенно особый взгляд на жизнь дает себя знать на любой странице.

Европа перемолола Иванова основательно. И в конце концов сломала, как сухую ветку. Вначале он, правда, жил лучше многих и ни в чем не нуждался. А умер - даже трудно это представить – нищим в богадельне. Правда, с улыбкой, хотя улыбаться уже было нечему. И сочинил напоследок смешной стишок:

В тишине вздохнула жаба.
Из калитки вышла баба
В ситцевом платке.
Сердце бьется слабо, слабо,
Будто вдалеке.

В светлом небе пусто, пусто.
Как ядреная капуста,
Катится Луна.

И бессмыслица искусства
Вся, насквозь, видна.

Георгий Иванов – фигура уникальная и одиозная. Многие его действительно считали лучшим поэтом русской эмиграции. У них там, у русских эмигрантов, литература делилась чуть ли ни по половому принципу. Лучшей поэткой считалась Мария Цветаева (она не любила слово «поэтесса»), а лучшим поэтом – он, Иванов. Хотя если кто-то это говорил, то сжав зубы. Иванова не любили - правда, не все – как человека. Считали, что он был «интимно связан со всякой мерзостью» и называли флюгером. И в самом деле, если бы Гитлер выиграл войну и захватил Россию, Иванов ему лизал бы пятки. А когда Гитлер проиграл, Иванов кинулся было в скандальный Союз русских патриотов. Друзья его оттуда еле выцарапали и сделали, наоборот, столпом русской эмиграции.

Хотя ко всем этим россказням современников относиться надо критически. Известно, что русские эмигранты особой порядочностью не отличались. Или, скажем, в некоторых отношениях были неразборчивы и грязью своего же земляка могли полить так, что мало не покажется. (Кстати, это и стало причиной того, что читать воспоминания русских эмигрантов мы в последнее время не шибко любим). Например, сам Иванов любил поизгаляться, скажем, над Набоковым. Разумеется, потому, что завидовал ему черной завистью. Как это так, Набоков - самый лучший писатель? И поэта Ходасевича как

единственного своего серьезного соперника тоже не любил. Правда, и тот был хорош, называл стихи Иванова – прикладным искусством. Иванов за это его как-то оскорбил, так ведь и Ходасевич в долгу не остался. Пустил в Париже слух, что Иванов с приятелями перед тем, как уехать за кордон, в Питере прирезал богатую старушку и на ее деньги жил потом припеваючи.

Действительно, многим не понятно было, на какие деньги Иванов и Одоевцева в эмиграции шиковали, тогда как все остальные, в общем-то, бедствовали. Вон, Нина Берберова пишет в воспоминаниях, что пока не уехала в США, где стала преподавать, в Париже имела всего-навсего «одну смену постельного белья». Это, кстати, пока она не ушла от того же поэта Ходасевича.

Что до денег, Иванов имел их от отца Одоевцевой, который в Риге был богатым домовладельцем и многое мог позволить своей любимой дочери. После его смерти Одоевцевой даже досталось хорошее наследство, и это еще больше раззадорило ее соотечественников-эмигрантов, которые в Европе жили неважнецки.

К Иванову в Париже отношение было настороженное. Многие ему завидовали. И все же мэтром считали. Хоть и поговаривали, что душа у него холодная, вялая и что писать по-настоящему он начнет лишь в том случае, если переживет сильное потрясение.

А пока ничего такого не произошло – потрясал он, наживая себе этим все больше врагов. Потрясал с каким-то сладострастием и остервенением, вызывая огонь на себя с одержимостью садомазохиста. Скандал был для него питательной стихией. Когда Северянин – тоже был хорош – за что-то назвал его в газете «шепелявой тенью», Иванову это доставило ну прямо удовольствие.

А не любили и, между прочим, побаивались Иванова как раз за его мемуарную прозу. Она многих приводила в бешенство. Прекрасная, надо сказать, проза. Заметьте, не воспоминания, а именно проза. Поначалу она может показаться непривычной нашему уху, какой-то нелитературной, слишком житейской, заземленной. Но когда вчитаешься, начинаешь чувствовать себя в его рассказах, очерках и мемуарах очень уютно. «Петербургские зимы», «Китайские тени» – уже одни названия у него какие-то экзотические.

Отчего люди от нее приходили в бешенство?

Оказывается, очень многих – например, Набокова, Ахматову, Северянина и других возмущало то, какими Иванов их «запомнил». Но ведь все мемуаристы врут. Правда, не так, как «врал» Иванов. Он, в общем-то, никогда и не скрывал, что правды в его писаниях не более 25 процентов. Но утверждал, что не врет и не фантазирует. «Я такими их видел», – смеялся он. И имел на это право. Потому что проза – любая, как, впрочем, и поэзия, – была для него в самом деле не воспоминаниями, а особым сочетанием сна и яви.

У него один из очерков посвящен нашему рижскому Московскому форштадту. Он так прямо и называется. Так вот, начинаешь его читать и удивляешься, как Иванов вдохновенно пишет об этом районе Риги, который у нас никогда не был в чести и положительные эмоции мало у кого вызывал. Поражаешься, откуда такие краски, такая необычная атмосфера у нашего Московского предместья. О рижском захолустье написано, как о сказке. Что же произошло?

А все очень просто. Иванов увидел его глазами художника. Кстати, здесь они с Одоевцевой останавливались - в доме ее отца, когда приезжали в Ригу. И точно так же, именно глазами художника, он видел своих соотечественников в эмиграции. Так что ничего он про них не выдумывал, во всяком случае – нарочно. Просто домысливал, а это разные вещи.

Конечно, современникам было обидно. Себя-то, кстати, они тоже видели иначе, не совсем теми, кем были на самом деле. Вот и нашла коса на камень. Может, они так огорчались не напрасно. Мемуарная проза ведь всегда имеет больше веса, чем просто мемуары. Хотя бы потому, что ее иногда перечитывают, а воспоминания – литература одноразового пользования.

Божий человек и поэт от Бога

О духовной или, как еще говорят, оцерковленной жизни известного русского поэта Надежды Павлович мало кто знает. И что она, будучи москвичкой, крепко держалась за Латвию, откуда были ее корни, тоже знают немногие. Несмотря даже на то, что она писала об этом в своих стихах.

Прежде чем Павлович связала свою судьбу с церковью, ее жизнь была по-женски достаточно бурной и яркой.

Митрополит Вениамин, с которым она близко познакомилась в Риге в конце 40-х гг. в недавней своей книге «Божьи люди» говорит о Павлович: «Родители ее были высокими чиновниками. Еще гимназисткой она писала в местной газете стихи, подписываясь псевдонимом. В душе уже тогда была либералкой. Наступила революция. Она влилась в ее русло. Стала совсем неверующей. N. N. тогда нужна была секретарша. Она была туда приглашена. От лица правительства ей предложили поехать в монастырь и описать там рукописи…»

***

Основные вехи первой половины жизни Павлович митрополит Вениамин излагает весьма приблизительно и потому неверно. Про детский псевдоним я вообще впервые слышу. Зато знаю, что много позже Павлович печаталась, действительно под чужим именем, в «Богословских трудах» Московской Патриархии. Она подписывалась – Антоний, архиепископ Минский и Белорусский. Потому что, во-первых, женщине в «Трудах» было не место. И что ее там печатали, кстати, означает, что в церковных кругах к Павлович относились с большим пиететом. Во-вторых, члену Союза писателей выступать с богословскими трудами возбранялось. Могли быть серьезные осложнения.

Но тогда ей уже перевалило за восемьдесят. Я хорошо помню наши встречи в Дубулты. В божьем одуванчике неведомо откуда брались силы ездить каждое лето в юрмальский Дом творчества писателей – так она любила наше взморье. Приезжая сюда, жила в двух мирах одновременно. В писательском, – как могли, опекали ее мы с женой, и был еще околоцерковный, куда мы вхожи не были и только догадывались, как велик там ее авторитет. Потом уже узнали, что с Ригой ее в эти годы связывала дружба с такими местными церковными деятелями, как митрополит Рижский и Латвийский Леонид и отец Серафим Шенрок. Она здесь словно оживала, набиралась сил. Со многими рижанами она переписывалась до конца жизни.

А вообще Рижское взморье и Латвия были знакомы Павлович с детства. Когда она была еще девочкой, ее отец служил лифляндским мировым судьей. В самом раннем из сохранившихся писем Павлович, где она обращалась к издателям детского журнала «Задушевное слово» с просьбой помочь подыскать ей среди читательниц подруг, она писала: «Я живу в Лифляндии, в им. Старо-Пебалге, здесь все говорят по-латышски, но я не умею. Мне 8 лет».

Латышским она потом, наверное, худо-бедно овладела, потому что занималась переводом латышских поэтов, хотя не настолько, чтобы разговаривать на нем. Семья рано уехала в Россию. Революция застала Павлович уже в Москве. Под инициалами N. N. митрополит Вениамин подразумевает Надежду Крупскую, у которой в юности Павлович некоторое время работала секретарем президиума внешкольного отдела Наркомпроса.

***

Уже тогда стихи занимали в ее жизни серьезное место. Сегодня Павлович известна как поэт, близкий блоковской традиции, как

переводчик латышских поэтов и как автор интересных воспоминаний о Блоке. Кроме того, ей принадлежит замечательный очерк про Оптину пустынь. Это и был тот монастырь, куда ей «от лица правительства» предложили поехать описывать рукописи.

Что касается Блока, это имя, пожалуй, было всегда главным в биографии Павлович. Недаром ее считают «одной из женщин Блока», иногда даже называют «последней женщиной поэта». Это не совсем так. Отношения с поэтом у нее действительно были близкие. Кстати, впервые стихи Блока она прочитала, когда ей было девятнадцать лет и тоже на Рижском взморье, куда приехала с подругой в 1914 году отдохнуть. Потом она увидела своего будущего кумира на каком-то вечере в Москве, после чего был Петербург, частые встречи и серьезное увлечение поэзией Блока и его ближайшим окружением.

Интересно, что в последние годы, когда мы встречались с ней в Юрмале, она говорила о Блоке всегда очень отвлеченно, чтобы не сказать возвышенно, и ни разу всуе не обмолвилась об интимной стороне их дружбы. С собой в Дом творчества она обязательно привозила две книги – Евангелие и еще одну, в старинном переплете, которую часто читала. На вопрос что это, она тогда сказала: «Это самое дорогое, что у меня осталось от Александра Александровича. Всегда вожу с собой. Здесь его заметки на полях. Вот посмотрите, написано его рукой…». Это был один из пяти томов «Добротолюбия», сборник сочинений церковных деятелей ранних веков христианства.

Блок был глубоко верующим человеком. О вере и на другие духовные темы они часто беседовали. Об этом Павлович пишет в воспоминаниях. Так что неправда, что «влившись в русло революции, она стала совсем неверующей». Наоборот, кроме всего прочего, их с Блоком сближало еще и глубокое отношение к христианству. Другое дело, что Блок не был человеком оцерковленным. Но – об этом тоже пишет митрополит Вениамин в своей книге – Блок никогда не был атеистом. А Павлович – подавно.

«Последней женщиной Блока» ее тоже называют напрасно. Отношения у них длились с лета 20-го года по март 21-го, а потом резко прекратились. Павлович подозревает, что тут не обошлось без его жены. Что, в общем-то, даже учитывая, что отношения Блока с женой были крайне странными, вполне понятно и объяснимо. Зачем ей, «увядшей бесцветной сорокалетней женщине», как пишет Павлович о блоковской «прекрасной даме», было терпеть постоянное присутствие возле него смазливой молодой поэтессы?

Они расстались. После Павлович у него была другая пассия. Он непрестанно «западал» на женщин разного достоинства, чтобы хоть как-то компенсировать экзальтированно одухотворенные отношения с собственной женой. А с Павлович Блок коротко виделся последний раз незадолго перед смертью, столкнувшись с ней в очереди «за пайком» в Доме учителя. «Было полутемно и холодно, и было мне очень горько. Он, видимо, увидел боль в моих глазах, подошел и крепко пожал мне руку».

Потом, спустя много лет, представляя себе горнюю встречу с Блоком, Павлович напишет в стихах:

Ты строго спросил меня: «Как ты жила?
Любовь пронесла сквозь года?»
И в голосе тайная нежность была.
Я тихо ответила: «Да».

В литературном, светском мире Павлович известна еще и тем, что она была невестой знаменитого писателя Бориса Пильняка. И чуть не погибла во всей своей красе ранней молодости: тоже влюбленная в Пильняка, его кухарка в порыве ревности набросилась на Павлович с кухонным ножом. И, наверное, зарезала бы, не подоспей во время ее изумленный жених. То ли из-за этой истории, то ли еще из-за чего, но замуж за Пильняка она так и не вышла.

В то время у Павлович была и другая причина, чтобы умереть. В середине 20-ых, на какой-то год после Октябрьской революции, она заболела туберкулезом. Спас ее художник Георгий Ряжский, который увез ее на кумыс в Башкирию. Он и стал потом ее мужем.

***

Особую гордость Павлович составляла ее связь с Оптиной. Сперва она ни за что туда не хотела ехать. Но потом сдалась. Она вспоминает об этом так: «В 1921 году умер близкий мне человек (А.Блок.- Г. Г.)… Мне нужен был учитель, который спас бы меня от прелести (на церковном языке словом «прелесть» называются соблазны, то, что сбивает с пути истинного. – Г. Г.). Я молилась…».

И случилось так, рассказывает Павлович, что во сне ей приснился какой-то монастырь и монах. Она восприняла это как Божий знак, как вещий сон и уехала в Оптину пустынь. Велико же было ее изумление, когда там она сразу встретила последнего старца Оптиной пустыни Нектария – того монаха, которого видела во сне. Пораженная совпадением, она вскоре стала духовной дочерью старца. Оставалась ею до его смерти, после чего написала его житие и большую, серьезную работу о самой Пустыни. Ей же, когда Нектария арестовали, удалось вызволить его из беды и спасти от лагеря. Как-никак она была посланницей Крупской. Официально она числилась научным работником Оптинского музея.

В Оптине как бы родилась другая Павлович. «Прелести» ее преследовали в жизни и позже, но, как обещал Нектарий, все они ей прощались, так как Павлович постоянно с тех пор служила церкви и посвятила себя целиком идее православия. Ее духовные тексты – это было заметно по духовным стихам тоже – написаны другим, близким к церковному языком. Когда ей было уже за семьдесят, она опубликовала в «Богословских трудах» (М., 1971, сб. шестой) очень интересную во многих отношениях работу «Из евангельской истории». Особый интерес представляет ее статья «Оптина пустынь. Почему туда ездили великие?»

Если когда-нибудь издадут собрание сочинений Павлович, оно многих поразит своей «двукрылостью», так называла сама Павлович обе половины своей деятельности – поэтической и церковной. Обитальцы юрмальского Дома творчества даже не подозревали в ней такой мощи. Как вспоминает знавшая ее уже в последние годы жизни Ирина Карклиня-Гофт, «маленькая чудаковатая подслеповатая старушка с удивительно ясным умом и прекрасной памятью, с железной волей и добрейшим сердцем, она жила в своем особенном внутреннем мире, резко контрастирующем с жизнью прочих обитателей Дома творчества. Над ней посмеивались, не принимали всерьез, но она будто не замечала улыбок по поводу ее старомодных шляпок, ридикюлей полувековой давности и стареньких, поношенных платьев. Гуляя по пляжу или парку, с трудом поднимаясь по навощенным паркетным ступенькам в столовую, она словно плыла над людским любопытством и липким шепотком: «Смотрите, эта бабуля – последняя женщина Блока».

И нет больше ни Павлович, ни того Дома творчества писателей.

Мистификации Набокова, или По другую сторону добра

Начну я, пожалуй, с утверждения, которое многих наверняка удивит: Набоков никогда не был писателем. Это самая большая его мистификация.

Нет, я, разумеется, далек от мысли, что все, подписанное его именем, сочинено не им, а каким-то другим человеком. Это действительно он, и никто иной, написал, – кстати, не так уж и много, – романы, рассказы и пьесы. Но… хочу особо заметить: похоже, что писательство для Набокова всегда было только хобби, приносившее хорошие деньги. Не более того. Почему, собственно, он даже не задумывался, чей он писатель, а на старости выкинул, пожалуй, самый вздорный из своих финтов – потребовал, чтобы его считали американским автором. И это несмотря на то, что в эмиграции всю жизнь мечтал когда-нибудь вернуться в Россию. Пусть даже, как он говорил, только «одними своими книгами». Писательство отнимало у Набокова немало времени, и все же гораздо серьезней он относился к энтомологии. Бабочки – порхающие, машущие крылами, которыми он заполнял специальные коллекционные коробки, всегда были главным делом его жизни. Несколько раз он даже работал по этой части в музеях и институтах. А литературная работа была для него, как бы это сказать… так, занимательной игрой, наваждением, шахматной партией, наконец, которая, как дурной сон, никак не могла закончиться.

Мало кто знает, что кроме литературных произведений у Набокова были серьезные научные публикации и даже открытия. Как энтомолог он считался в мире признанным авторитетом. Его именем назван целый род бабочек. И, останься он в России (как судьба играет человеком!), мы вместо Набокова-романиста, может быть, имели бы не менее известного ученого Набокова.

Что касается бабочек, у него доходило до смешного. (Вообще, его жизнь – во многом трагифарс, что самому Набокову, кстати, доставляло удовольствие). Будучи уже в Крыму, он всерьез планировал отправиться добровольцем в Белую армию. Но с оговоркой: не сразу, а лишь когда закончится сезон бабочек.

* * *

Сочинительство было для него как бремя. Как сизифов камень: его с трудом поднимаешь в гору, он скатывается вниз, и надо все начинать сначала. Правда, труд этот не был в тягость. Набоков очень любил составлять головоломки, в том числе и литературные. Это еще одно доказательство, что он не был писателем в обычном смысле слова. Поучать, витийствовать – не в его духе. Сермяжной правде он охотно предпочитал любой, пусть даже самый заурядный розыгрыш. Выше реальной действительности ставил свои выдумки и фантазии, а проповедь каких бы то ни было нравоучений считал делом гиблым и даже безнравственным.

Он обожал придумывать парадоксы и именно поэтому был не столько писателем, сколько игроком. Разве что играл Набоков не в карты или рулетку, а в шахматы и паралитературу. Лучший его роман - «Защита Лужина» – это что-то большее, чем литература. Это как шахматная партия с чередующейся последовательностью ходов и зыбкими узорами сложнейших комбинаций. А роскошный «Дар»? Если читать «Дар» просто как беллетристику, можно уснуть. «Дар» надо расшифровывать. А «Камера обскура»?.. Его романы неисчерпаемо изобретательны. За одним дном в них обнаруживается другое, а за вторым и третье. Потому они пьянят, как легкое вино или предчувствие кессонной болезни. Это бабочки, которых нельзя поймать сачком. Можно только восторгаться ими, особенно, если вы в душе тоже игрок.

Впрочем, лучше сказать иначе: феномен Набокова в том и заключался, что и в литературе он вел себя как энтомолог. Как коллекционер, гоняющийся за литературными бабочками, чтобы их препарировать. Неслучайно Набоков считается в литературе первым постмодернистом. И неслучайно он так упорно не хотел признаться, что читал роман Кафки «Процесс». Вернее, что читал он его, Набоков потом признал, но упорно твердил, что уже после того, как сочинил отсылающее нас к Кафке «Приглашение на казнь». Он не хотел раскрывать свой творческий метод – метод литературного прозектора-пародиста. А ведь именно этим занимались потом все постмодернисты, только делали это обычно топорно, тогда как у Набокова все получалось просто виртуозно.

И, между прочим, не у одного Набокова. Точно так же, например, Бунин – как ни странно в те же годы – в своем «Чистом понедельнике», можно сказать, спародировал конструкторское построение романа Газданова «Вечер у Клер». Это поветрие – перепевать друг друга, откликаться на чужие произведения и перекликаться или, как еще говорят, перемигиваться с ними, популярно в западной литературе до сегодняшнего дня. Набоков это делал повсеместно. Так написана «Лолита», по сути дела, пародирующая сразу несколько западных бульварных романов. А, например, «Отчаяние» целиком соткано из перепевов «Двойника» Достоевского и его же «Преступления и наказания». В «Отчаянии» писатель даже нарочно коверкает свой язык, чтобы было «под корявый стиль» Достоевского. Даже самый первый роман Набокова «Машенька» в этом смысле не без греха. В нем легко просматривается конструкция пушкинского «Евгения Онегина»…

Другое дело, что почти все написанное Набоковым обычно воспринимается досужим читателем как высококлассная беллетристика. Из какого «сора» выращен набоковский цветник, рядовому читателю неизвестно и неинтересно.

* * *

Еще одна сторона набоковского феномена заключается в том, что никто другой из живших на Западе русских писателей не знаменит так, как Набоков. Известность пришла к нему с первым же романом «Машенька». Между прочим, как он сам утверждает, почти целиком автобиографическим. Читатели были заинтригованы его слогом, ароматом, атмосферой, и глубоким чувством одиночества потерявшего родину человека.

Первый роман Набокова очень неплох и дает фору некоторым из написанных им книг уже в зрелом возрасте на английском языке. «Машеньке», например, сильно уступает последний роман писателя «Смотри на арлекинов» – очень претенциозный, надуманный и к тому же отвратительно переведенный на русский язык. Перевод искажает смысл текста местами до полного абсурда. Примерно такая же участь постигла существующий на русском языке в двух переводах роман «Ада». Я ужаснулся, начав сравнивать оба перевода: такое впечатление, что это две разных книги, написанных разными авторами! «Машенька», на мой взгляд, и читается проще, и написана лучше.
Я говорю «на мой взгляд», потому что некоторые критики русского зарубежья приняли первый опыт Набокова в прозе в штыки. Причем совсем не потому, что они посчитали его слабым. Наоборот, все отмечали, что «Машенька» написана очень бойко, что Набоков блестяще владеет слогом и уверенно строит сюжет, но это как раз их и озадачило. Критики не могли взять в толк, к чему все это великолепие. Да, молодой автор ловко играет словом, но… абсолютно аполитичен и даже безнравственен! Им, привыкшим считать, что русские писатели в мировой литературе выполняют некую просветительски-вос-питательную миссию, было не понятно, зачем молодой поэт вдруг обратился к прозе и что, собственно, хотел своей «Машенькой» сказать.

Обструкция, впрочем, получилась маломощной, потому что все было шито белыми нитками. А на расстоянии сегодняшнего дня вообще стало очевидно, что критики

Набокова повели себя тогда сварливо и завистливо. И только оттого, что некоторые из них сами подвизались, как они высокопарно выражались, на ниве изящной словесности. Им, конечно же, было завидно, что удачливый, хорошо образованный молодой человек двадцати с лишним лет так непринужденно и, главное, уверенно из салонной поэзии шагнул прямиком в большую литературу.

Но это еще не все. Они, считавшие себя столпами русской мысли, увидели в «Машеньке» посягательство на святые принципы русской эмиграции. Русский пансион в Берлине, где, собственно, у Набокова все и происходит, описан в романе с иронией и сарказмом. Набоков остро чувствовал, насколько малокультурен и провинциален круг людей, среди которых ему приходилось жить в русском Берлине. Именно эти ощущения он и передал в «Машеньке». Сделал их основой, фундаментом своего, можно сказать, новаторского романа.

Новаторство Набокова состояло и в том, что он стал первым в русском зарубежье автором, который прозу писал на западный манер. Литература для него не имела других задач, кроме как мастерски сочинять и рассказывать занятные истории. Мне кажется, для него даже не существовало общепринятого деления литературы на поэзию и прозу. Набоков обожал два занятия – ловлю бабочек и игру в шахматы. Литература в его восприятии была в чем-то сродни им.

В прозе, как никто другой, он беспрерывно играет – именами персонажей, коллизиями, сюжетами, стилями. У Набокова, как утверждают знатоки, «нет двух рассказов, написанных в одной манере». Такое впечатление, что он их сочиняет как пародии на что-то свежепрочитанное. И это критиков бесило особенно. Пока они, в конце концов, не договорились до того, что Набоков в литературе ничего не делает просто так, по доброте душевной, потому что он – чистой воды постмодернист. И занимается исключительно тем, что пародирует в своих произведениях самых разных писателей мировой литературы.

Так ли это или не так, поди теперь докажи. Но Набоков действительно любит иронизировать над читательскими вкусами и посмеяться над любыми нашими литературными предпочтениями. Как упоминалось, он обожает парадоксы, что в литературе встречается, между прочим, совсем не часто. Дорвавшись в романе до какой-нибудь парадоксальной схемы или фантасмагорической коллизии, он пишет сладострастно, будто сам удивляется, что в литературе так бывает.

Его «Машенька» тоже роман парадоксов от начала до конца. От замысла до воплощения. Главный герой романа Ганин – это не кто иной, как сам Набоков, в эмиграцию попавший, как кабан в западню. Неожиданным образом жена соседа Ганина по русскому пансиону в Берлине, которая вскоре должна прибыть из России, оказывается его первой девушкой, которую он попытался, но так и не сумел соблазнить, когда восемнадцатилетним юнцом приезжал в отцовское имение. Теперь уже двадцатипятилетний а-ля Онегин решает переиграть заново свою жизнь, как шахматную партию. Исход его затеи оказывается невероятным. Машенька, в конце концов, становится для него символом этой несложившейся жизни. С одной стороны, сладостным воспоминанием о России как утерянном рае, а с другой, укором, напоминанием о том, что вернуться на родину ему никогда уже не удастся.

Первый роман Набокова получился удивительно психологическим. Воспоминания, мечты, надежды, суровая явь эмигрантского быта так тесно в нем переплелись, что одно проникает в другое, и не всегда можно четко отделить прошлое от настоящего. В русской литературе ничего подобного до «Машеньки» ни у кого не было. А в довершение всего получается еще и так, что с самой героиней ни Ганину, ни читателю встретиться в этом романе так и не удается. В «Машеньке» существует только ее тень, абрис, милый призрак. Наяву она в романе так и не появляется. Что, вообще-то, не помешает ей все-таки появиться перед нами «живьем», но гораздо позже, уже в третьем по счету романе Набокова «Защита Лужина». Там она

фигурирует в нескольких эпизодах со своим супругом Алферовым в качестве «случайной знакомой» уже совсем другого героя. Вот в какие игры играет в своей прозе Набоков.

Еще больше всполошилась критика после второй книги Набокова «Король, дама, валет». В газетных откликах царила растерянность: блистательно написанный роман, как и «Машенька», вообще выпадал из гуманистической традиции русской литературы. Это казалось новым словом в русской словесности. Холодный ум парадоксалиста восхищал и настораживал одновременно. О литературной игре его автора и литературных «предтечах» тогда еще никто не догадывался.

Популярность Набокова росла с каждой новой книгой. Одни читали его романы как легкую беллетристику, других, напротив, привлекала глубина, таинственная и беспросветная. И тех, и других восхищал набоковский язык.

О романах Набокова можно сказать словами другого загадочного писателя, автора «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, что книги его, похоже, значат больше, чем предполагал сам автор. И в этом у них с Кэрроллом есть много общего. Недаром Набоков, кроме переведенного им на английский язык пушкинского «Евгения Онегина», взялся однажды и за перевод интеллектуальной сказки Кэрролла про Алису. Разумеется, на русский язык. Его детская книжка «Аня в стране чудес» сегодня стала библиографической редкостью. Хотя вполне могла бы издаваться часто, и ее охотно раскупали бы для детей.

* * *

Во времена горбачевской перестройки Набоков таки вернулся на родину. Его стали активно издавать, лавина набоковских книг и литературы о нем буквально накрыла читателя с головой. Потом опять наступило затишье. В статьях о нем до сих пор сквозит какая-то потерянность и недоумение перед непривычными для русского читателя парадоксами, изощренной игрой ума, неожиданными провокациями и шарадами. Что касается литературных традиций, набоковеды по-прежнему рассуждают о холодности писателя, беспристрастности и полном безразличии к своим героям и ко всему, о чем он пишет. В лучшем случае комментаторы стремятся расшифровывать его «кроссворды» и выявлять литературные аналогии.

Только должен заметить, что, например, ту же «Лолиту» Набокова гораздо интересней читать как увлекательный роман, чем выискивать в нем сложные сочетания пародии с едва заметными перепевами мало известных нам литературных произведений западных авторов.

Кто-то сказал, что сложность набоковской прозы в том и состоит, что надо разобраться в каждом хитроумном намерении автора, серьезном и несерьезном одновременно. Я думаю, это неверно. Вряд ли Набоков мудрствовал лукаво в своих романах только для того, чтобы потом мы разгадывали его шарады. Если вы что-то интересное подметите, разгадаете его потаенный ход – очень хорошо, замечательно, один ноль в вашу пользу. А коль нет, тоже не беда. По нулям. Главное, чтобы проза произвела на вас впечатление, а как она сделана, «из какого сора», вас беспокоить не должно.

Гораздо важней понять другое. Верно ли то, что Набоков так уж аморален и беспроблемен, как всегда утверждали его критики? Так ли уж он холоден и формалистичен, как писали о нем недоброжелатели и завистники? И в чем эта его «безыдейность» заключается?

Если вдуматься, литература безыдейной не бывает по определению. Иначе это не литература, а что-то совершенно другое. Те же, кто в последнее время не устает долдонить о том, что художественная литература даже должна быть безыдейной, просто не удосужились разобраться, в чем ее функция и назначение.

Во всяком случае, вся восточная литература всегда была непременно идейной. И западная, включая русскую, – тоже. Иначе, повторяю, она не называлась бы литературой.

Что касается конкретно Набокова, тем

он и привлекателен, что круг его предпочтений, как и сами представления о нравственности и человеческой самодостаточности, просто несколько иные, чем это было принято до него и в русской, и в западной словесности. Мы привыкли к определенным стереотипам. К тому, что литературное произведение развивается в рамках понятий о противоборстве добра и зла. А вот романы Набокова лежат вне этого пространства, и в этом все дело. У него другой подход – его интересует не борьба противоположностей, а их сочетаемость и взаимопроникновение.

Главные темы Набокова – это перетекание судьбы в рок, любви – в ненависть, искусства – в пошлость, естества – в автоматизм. У него – и это важно – другая этика. Как у человека, вырванного из привычной (русской) среды и обреченного на полное (эмигрантское, западное) одиночество.

Все дело в том, что западный мир русским человеком обычно воспринимается как мир свободы, независимости, «освобождения от тоталитарного режима». Но Набоков на это смотрел иначе. По сравнению с той Россией, которая до конца жизни для него оставалась «потерянным раем», Запад находился, в его представлении, вне этого рая и потому воспринимался Набоковым наоборот – как мир несвободы и пошлости. О чем, собственно, он во всех своих романах и писал. Его соотечественники-эмигранты понять это были не в состоянии. Как не могут понять и простить ему этого и многие нынешние российские критики.

Лолита, которая гуляет сама по себе

На Западе Владимир Набоков считается крупнейшим русским романистом XX века, а «Лолита» – его самым известным романом. Или, во всяком случае, книгой, с которой связано наибольшее количество скандалов и судебных разбирательств.

Написанная в США, она там была издана лишь после долгого запрета. Книга о порочной связи пожившего мужчины со школьницей вызвал сначала шквал протестов благочестивых американцев, а затем, когда все же вышла, мощную волну порнографии и пошлости.

Клонированные Лолиты

С этим романом вообще все очень непросто. Набоков никогда ничего не делал без задней мысли. Даже трудно сказать, чего в нем больше – писателя с поэтом или шельмы-игрока, забавляющегося своими героями, а заодно и читателем, как кошка мышкой. Романы он придумывал как кроссворды, писал их, словно разыгрывал шахматную партию, а потом посмеивался над критиками и комментаторами, пытавшимися сообразить, кого он пародирует, тиражирует или клонирует. Не зря он считается предтечей наших постмодернистов. Правда, то, что они выделывают в своих опусах, жалкий лепет по сравнению с проделками самого Набокова. Да и прочесть «шедевры» этих авторов от корки до корки сегодня способны немногие, тогда как все написанное Набоковым проглатываешь с упоением, даже не догадываясь, что писатель водит тебя за нос.

Большинство читавших «Лолиту» удивляются, когда им говоришь, что книга эта пародийная и перекликается со многими русскими и нерусскими романами. Настолько ловко она написана и ничем не отличается от простой беллетристики.

Приключения, начавшиеся с этим романом уже после смерти автора, можно считать продолжением им же самим затеянной игры. Набокову такое и не снилось, а если бы случилось при его жизни, наверняка вызвало бы его возмущение. Он написал «Лолиту» и почил на лаврах, а в судах, отстаивая авторские права, пришлось отдуваться его сыну.

Поначалу «Лолита» очень понравилась известному абсурдисту Эдварду Олби и подвигла его переписать роман для сцены. Пьеса получилась еще скандальней и скабрезней, потому что он, в отличие от Набокова, изысканного стилиста и ценителя русского языка, «перевел» роман на циничный язык улицы. Так родилась на свет препохабнейшая Лолита-2.

Тогда казалось, что ничего грязней и гадостней сочинить нельзя. Но лишь до тех пор, пока на прилавках не появилась очередная версия «Лолиты» под названием «Дневник Ло». Эту книгу написала итальянка Пиа Пера, набоковед, посвятившая много лет изучению прозы писателя. В совершенстве освоив его метод, он решила все переиначить и переписать роман так, словно сочинил его не мужчина, а девочка-тинейджер современного пошиба. Роман «Дневник Ло» вызвал скандал не меньший, чем в свое время набоковская «Лолита». Сын Набокова тут же подал на Пера в суд за надругательство над памятью отца. И все же мир принял детище нахальной итальянки с интересом. О книге сразу заговорили. Кстати, в переводе на латышский, а затем и на русский язык ее раскупили с большим успехом, чем сегодня покупают набоковскую «Лолиту».

Между тем и порицания, и восторгов «Дневник Ло» одинаково заслуживает. С одной стороны, это можно, конечно, расценивать как литературный грабеж. Но ни в коем случае не как плагиат. Роман чуть ли ни досконально повторяет оригинал, но в искусном зеркальном

отражении. У самого Набокова из уст героя-мужчины история совращения малолетки звучит как высокая поэзия, по сравнению с тем, во что ее превратила Пера. Она показала американский образ жизни как мир низменных инстинктов, в котором из невинных школьниц вырастают хищные самки.

Юные пересмешницы

Пера утверждает, что напыщенный Гумберт, якобы соблазнивший ребенка, на самом деле просто не понял, что произошло. Напрасно он терзался угрызениями совести, все случилось наоборот. Лолита, как только увидела поселившегося у них дома жильца, тут же решила позабавиться с ним и с блеском с этим справилась. Что называется, отбила у матери жениха. Цинично, расчетливо и рьяно.

«Дневник Ло» – это не просто женская версия романа, а современный взгляд на мир и на мужчин американской девчонки, воспитываемой в условиях вседозволенности. Пера убеждает нас, что ее героини уже давно не мечтают о прекрасных принцах и возвышенных материях. Они смотрят на мир проще некуда. В свои двенадцать лет Лолита с подружками в романе Перы выделывают такие эскапады, какие набоковским нимфеткам полвека назад не могли прийти в голову. Пера, словно в насмешку над читателями Набокова, говорит, что решила рассказать миру правдивую историю Лолиты, о которой заигравшийся в литературу писатель даже не подозревал. Историю страшную и жестокую. Ее нимфетки признают лишь три источника наслаждений – секс, еду и сон. Все остальное им неинтересно и не нужно. Они прекрасно осведомлены о маленьких слабостях стареющих мужчин и не прочь ими воспользоваться. Все остальное – игра. Только не как у Набокова в литературу, а во взрослую жизнь. И тут важно сыграть в нее так, чтобы самодовольный мужчина не заподозрил, что инициатива не в его руках, – в этом весь кайф.

«Дневник Ло» вызывает противоречивые чувства. И брезгливость, и удивление одновременно. И еще недоумение. Несмотря на то, что читается «Дневник» на одном дыхании, перелистываешь последнюю страницу и поражаешься, зачем читал? Но тут же спохватываешься: доля истины в нем есть. Многое Пера подметила верно. Впрочем, не сказано, что Набоков этого не понимал. Просто у него и у Перы задачи были разные. Психология девчонки раскрыта в «Дневнике Ло» живописно и полно, но ведь Набокова интересовал только сам феномен влюбившегося в нимфетку мужчины. О чем он, кстати говоря, принимался писать не один раз.

Роман Перы решила переплюнуть американская юмористка Эмилия Прейгер. Она сочинила совершенно инфернальную пародию на Набокова. И на Перу, вероятно, тоже. Чтобы избежать юридических осложнений, Прейгер частично изменила имена. Ее книга называется «Роджер Фишбайт», он двойник Гумберта. Но написан роман тоже от лица девицы, правда, уже находящейся в тюрьме для малолетних убийц. Это жестокая версия «Лолиты» Тут не только герой избавляется от матери девочки, чтобы завладеть ее дочкой, но и та потом убивает своего надоевшего любовника.

Держите вора!

А вот еще один, совсем уже недавний случай. История с Лолитой дала обратный ход: теперь самого Набокова обвинили в плагиате. Это дело раскрутили немецкие журналисты. Они заявили, что Набоков списал свою «Лолиту» с юношеского рассказа берлинского репортера по фамилии Лихберг. Будто бы тот опубликовал похожий рассказ в газете, аккурат когда в Берлине жил Набоков.

Только эта история не стоит выеденного яйца. Любой специалист по авторским правам докажет, что, даже прочти Набоков тогда его рассказ, роман, написанный много лет спустя, воровством считать нельзя.

И вообще «Лолита» скорей всего была написана на основе семейного предания. Дед Набокова в молодые годы пленил сердце некой генеральши Нины фон Корф. Она согласилась стать его любовницей, но только при условии, что он женится на ее пятнадцатилетней

дочери. Дед это дело устроил, после чего они втроем стали совершать различные круизы по заграницам.

Кстати, в «Лолите» Гумберт тоже женится, но на матери понравившейся ему девицы. Получается, что Набоков в романе просто развернул семейное предание другой стороной. И все дела. Немецкий репортер со своим рассказом тут вообще ни при чем. Все получилось гораздо интересней.

Весь Газданов как на ладони

В русском зарубежье Гайто Газданов всегда был белой вороной. Даже в 90-е годы в бурном потоке изданий произведений русской эмигрантской литературы его замечательные романы оказались далеко не в первой шеренге. Прозаик такого же масштаба, как Набоков, признанный классик русской литературы, он до сих пор остается малоизвестным автором у себя на родине. Между тем, если бы не Набоков, лучшим писателем русского зарубежья мы, безусловно, считали бы его – Газданова.

Такое впечатление, что он и сам не очень-то стремился к широкой известности. Некоторые из своих произведений Газданов так и не успел издать. Может быть, тому, что он не стал популярен ни во Франции, где прожил всю свою вторую, «писательскую», часть жизни, ни теперь на родине, поспособствовало то, что Газданов был членом масонской ложи? Причем, судя по воспоминаниям современников, очень активным членом. Редкий случай: прочитанные им в ложе два доклада теперь вошли в полное собрание его сочинений. Такой чести удостаивался редко кто из масонов.

Впрочем, такого собрания сочинений, как пятитомник Газданова, сегодня тоже удостаивается мало кто из писателей. Кроме неопубликованной им при жизни прозы и масонских докладов, сюда вошла полная коллекция писем писателя, его статьи и тексты радиопередач и еще воспоминания о нем современников. Можно сказать, пятитомник в полной мере компенсировал былую непопулярность Газданова.

Человек со стороны

В жизни у него все складывалось не как у писателей. Ничего в нем не предвещало литературной будущности. Потом вдруг тридцатилетнего начинающего прозаика оглушает литературный успех. Первый же роман Газданова «Вечер у Клэр» вызвал восторг критики. Его имя сразу же поставили рядом с Набоковым. Но недолго музыка играла – оказалось, что литературным трудом прожить нельзя. Все надежды на «новую жизнь» мгновенно рухнули. За исключением увлекательных романов Алданова, русских писателей в Париже издавали мало. И Газданов на этой идее поставил крест.

Будем благодарны судьбе, что он хоть писать не бросил. А ведь мог, потому что практически существовал вне литературной среды. Его продвижение вперед на писательской стезе им же самим рассматривалось скептически, а успех романа выглядел случайным.

Кстати, «возвращение» газдановских книг в Россию тоже до последнего времени шло со скрипом. Он из числа тех писателей, чьи романы в книжных магазинах и даже в библиотеках найти всегда трудно. Причина тому заурядная, но, с другой стороны, тоже не совсем обычная и писателям не свойственная.

Газданов всю жизнь из какого-то труднообъяснимого азарта, как пилот ради спортивного интереса, совершал мертвые петли. Будучи вполне аполитичным писателем и к тому же мастером масонской ложи, он – тоже редкий случай высшего пилотажа – почти треть своей жизни, до самой смерти, проработал на радиостанции «Свобода». Делал в основном передачи о русской литературе. А в последние годы жизни даже возглавлял там русскую службу. Естественно, на родине о нем сложилось мнение как о человеке не столько с литературным, сколько с темным прошлым. Русская публика полицаев и власовцев не любит почти генетически, а уверенность в том, что только такие люди работали в послевоенное время в западных «голосах», у многих бытовала всегда.

Между тем в предательстве или в чем–

то подобном обвинить Газданова не смог бы никто (мало кто знает, но когда немцы взяли Париж, он участвовал в движении «Сопротивления»). К слову сказать, он был человеком по-настоящему русским. Имя Гайто отец дал ему в память о своем друге-осетине. Эмигрировал Газданов в 1920 году как участник Добровольческой армии (наверное, когда его брали на «Свободу», это обстоятельство сыграло не последнюю роль). Но и здесь в биографии Газданова просматривается мертвая петля – его, что называется, угораздило. На фронт к Врангелю Газданов попал шестнадцатилетним парнишкой. Без каких-либо политических убеждений. Позднее он напишет, что в Белую армию пошел исключительно из мальчишеского любопытства, хотелось повоевать. Будь он на другой территории, подался бы к красным. И вообще, из России он уехал без всякого резона, опять попал в мертвую петлю. Не заверши он ее тогда, наверняка разбился бы и погиб.

Писатели без читателей

Уже когда вышел роман «Вечер у Клэр» и сам Горький прислал автору очень теплое письмо, Газданов решился просить его помочь вернуться в Россию. Это была середина 30-х годов. У Газданова в России тяжело болела мать, и вообще в Европе он не видел для себя никаких перспектив. Литературную работу в зарубежье он считал бессмысленной для русского писателя и никому не нужной. «Здесь у нас нет читателей, и вообще нет ничего», - писал Газданов Горькому.

В это же время он более детально объяснял положение молодой эмигрантской литературы в одной из своих статей, сводя все к тому, что у пишущей молодежи нет в эмиграции ни мировоззренческой, ни нравственной потребности заниматься литературой. «Страшные события, которых нынешние литературные поколения были свидетелями или участниками, – писал Газданов, – разрушили все гармонические схемы, которые были так важны, и нанесли им непоправимый удар. У нас нет нынче социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты, и с этой точки зрения он, этот сотрудник, был богаче и счастливее его потомков, живущих в культурном – сравнительно – Париже».

Надо добавить, что тогда на Западе русская эмигрантская литература всеми, кроме самих русских, считалась чем-то второсортным. Кстати, такое мнение бытовало не без основания. Мы и сами теперь видим, что, кроме пяти-семи имен, никто из пишущих эмигрантов серьезным, выдающимся явлением так и не стал. Как ни печально, теперь это уже нельзя не признать.

…Горький подхватил идею Газданова о возвращении в Россию и согласился ему помочь. Но вскоре умер, и дело заглохло. Бог миловал, иначе вряд ли Газданов дожил бы до декабря 1971 года, скорей всего намного раньше погиб бы в лагерях.

А жил он все эти годы, как тысячи других эмигрантов, что с писательской жизнью не шло ни в какое сравнение. Тяжело работал грузчиком, мойщиком паровых котлов, заводским рабочим, ночным таксистом. Так что наверняка одной из причин, почему он принял предложение поработать на радио, была возможность заниматься литературным трудом.

Рассматривать сотрудничество Газданова с радиостанцией «Свобода» как политическую деятельность и тем более пытаться связать с убеждениями писателя и его жизненной позицией – бессмысленно, хоть и соблазнительно. Парадокс, но на «Свободе», исходя из наших представлений о «голосах», ему делать было нечего. Работа на радио служила ему просто надежным и необременительным источником существования.

Чем он отличался от Набокова

Читая прозу Газданова, понимаешь это сразу. Политики в его прозе ни грана. Больше того, некоторые даже считают газдановскую прозу будуарной, чтобы не сказать дамской. Что на самом деле далеко не так, хоть и

характерно для русской писательской среды в Париже тех лет. Дело тут обычное: русская эмиграция состояла не из победителей, а из побежденных, искавших в литературе оправдание и сочувствие себе. Газдановский идеал сильного, романтического и иронического молодого человека, не шляющегося по богемным кафетериям с грошом в кармане, а по-мужски зарабатывающего на жизнь, не импонировал тогда многим мужчинам, но нравился женщинам. Из-за чего и проистекала пресловутая «будуарность» во мнениях о его романах. И сама манера его письма – густая, тягучая, как льющийся мед, с множеством оттенков мысли, постоянным самоанализом и поиском философского смысла, идущим от масонства, – тоже не каждому была по душе.

Романы Газданова – литература рафинированная, рассчитанная на тонкое, тренированное восприятие. Изысканные сюжетные построения, часто опять же по типу мертвой петли, когда судьбы его героев целиком зависят от рокового стечения обстоятельств и развиваются по замкнутой кривой, – все это похоже на игру. Вот чем Газданов так походил на Набокова, отличаясь от него всем остальным. И прежде всего теплотой и жизненностью своих романов. Такое впечатление, что он ничего не придумывал, – просто видел иначе.

Скажем, в знаменитом «Призраке Александра Вольфа», почти детективном романе, или в рассказе «Судьба Саломеи» взяты рядовые ситуации, но в них (это уже как навязчивая идея, какой-то комплекс) Газданов неожиданным образом опять и опять раскрывает скрытую завершенность мертвой петли как основу каждой жизни и любой судьбы. И единственное, что для него важно, – завершить ее, эту мертвую петлю, до конца, изящно и ловко, чтобы не разбиться.

Марк Алданов и его книги

Из тридцати трех способов разбогатеть самыми простыми раньше считались три. Напечатать кучу фальшивых денег. Жениться на очень богатой вдове. Это особенно пикантно, когда делаешь по заданию партии. Потом вдовушкины деньги присвоить и исчезнуть. Третий способ самый простой – «взять банк». Лучше всего такая экспроприация удавалась, когда ее осуществляли во имя блага общего дела.

Названые три способа действительно стары как мир. Еще Ленин пользовался ими для обогащения партийной кассы. По части третьего непревзойденным мастером был Сталин – Коба-Давид-Чижиков-Иванович… Человек выдающийся и, может быть, даже самый выдающийся во всей ленинской гвардии.

Я уверен, вы не догадаетесь, чью главу и из какого произведения я тут пересказал. Это – Марк Алданов. Его очерк «Иосиф Сталин» каждый сегодня прочтет с большим интересом. Несмотря даже на то, что написан был этот очерк восемьдесят с лишним лет назад, в 1933 году. И, как вы понимаете, – в эмиграции. В Париже. В России Алданова быстренько пустили бы в расход. И не только за его очерк. В котором, кстати, проводится трезвая мысль, что Сталин для России был суровой неизбежностью, – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Очерк о Сталине в творчестве Алданова – любопытный пустячок, не больше того. После смерти жестокого генералиссимуса Хрущев мог вполне простить известнейшему эмигрантскому писателю этот «портрет» и приказать начать печатать его романы, как печатали, например, Алексея Толстого. Интересно, кто из них был бы популярней. Но не начали. И лишь во время горбачевской перестройки на нас лавиной обрушились его романы, повести, рассказы, очерки. Совершенно замечательные по тону и манере письма.

Какая прелесть эти романы

Так долго не печатали в России Алданова, конечно, из-за позиции. Потому что широко известная на Западе его трилогия «Ключ», «Бегство» и «Пещера» показывает революцию и участие-неучастие в ней интеллигенции в совершенно непривычном для нас ракурсе. В своем роде это контрверсия «Хождения по мукам» Алексея Толстого. Однако прелесть алдановских романов, разумеется, не только в позиции и вовсе не в отношении нереволюционной интеллигенции (оказывается, была и такая) к известным событиям. А в самой оркестровке. В каком-то особом, незнакомом звуке, в щемящей ноте, характерной для его прозы.

У кого-то, наверное, у Джека Лондона, есть рассказ об одиноком волке, бегущем по пустынным снежным просторам. По тональности это близко к Алданову – сочетание чувства безысходности с тоской одиночества затерянного на чужбине человека. Эта же нота, только немного иначе, звучит в эмигрантской прозе Бунина и у Набокова.

После них Алданов считался третьим по величине русским писателем на Западе. И считается до сих пор. Тут надо оговориться – разумеется, не теми, кто недолюбливал колючего нобелянта и «холодного» Сирина. До сих пор эти три прозаика – и я бы к ним добавил все еще мало нам знакомого Газданова – остаются непревзойденными мастерами русской прозы, пожалуй, вообще всего прошлого столетия. Не только в русском зарубежье, но в русской литературе как таковой.

Алданов – это редкий случай. На Западе он не только слыл самым крупным романистом, которым зачитывалась вся русская эмиграция, но и единственным, кто

жил на широкую ногу исключительно на свои литературные доходы. К тому же поддерживая финансово других, например, того же Бунина. И что удивительно, такой же популярностью Алданов – тоже единственный из живших в зарубежье русских писателей – пользовался на французском языке.

Бунин (они были друзьями), очень придирчиво и ревниво относившийся к чужой прозе, несколько раз выдвигал Алданова на Нобелевскую премию. Ничего из этого, правда, не получилось, но даже если бы Алданову премию дали, для нас он все равно еще долго оставался бы неизвестным. В лучшем случае советскому читателю его представили бы как дешевого беллетриста. Написавшего, дескать, несколько исторических романов о французской революции. Благодаря чему, собственно, Алданов и прославился в переводах на французский язык.

Что ж, можно его действительно считать беллетристом, но высшей пробы. Он и в самом деле был мастером интриги и умел писать захватывающе. Как будто разматывал нить детективной истории, о чем бы ни шла речь. О судьбе русских эмигрантов, о Наполеоновской кампании или революции в России.

Не разночинец, скорее – аристократ

Человек он был тоже удивительный, со счастливой судьбой. По образованию химик и юрист, литератор от бога, он среди соотечественников-эмигрантов стоял особняком. Опять же, как Бунин и Набоков. Алданов от всех отличался не только изысканностью манер, но и тонкой внешностью и отчужденным отношением к окружающим. Он как бы не жил, а впитывал в себя мир, чтобы потом выплеснуть его на страницы своих книг. И писал размашисто, как сегодня сказали бы – сериалами. В этом смысле даже странно, что наши современные телесериальщики еще не удосужились ничего снять по его романам.

В послереволюционной русской литературе другой такой фундаментальной фигуры, подобной Алданову, просто не было. Разве что Горький мог потягаться с ним по широте охвата русской жизни. Наподобие бальзаковской «Человеческой комедии» Алданов создал огромный цикл из шестнадцати романов и повестей о русской и западноевропейской истории двух последних столетий – XIX и XX веков. В таких случаях говорят: этого достаточно, чтобы увековечить свое имя в анналах истории и литературы.

Но мало того, у Алданова есть еще и научные работы по химии и даже философии. А его собрания сочинений – явление вообще беспрецедентное. В 90-х годах вышло сразу два, а затем и целый его восьмитомник – но они не вмещают всех его книг, «лицо» писателя или, как принято говорить, наиболее полно отразить все творчество плодовитого романиста они не могут.

Существует Алданов-романист – это одна сторона его дарования, а ведь есть еще – портретист. Когда Алданов уехал из Франции в США, он понял, что эпикой, т.е. одними своими романами и повестями, ему тамошнего читателя не завоевать. И стал писать ни на кого из других русских авторов не похожие художественные, или точнее – беллетризированные, исторические очерки и психологические портреты. В нем вновь, как в бытность его химиком, проснулся исследователь. Благо необходимых материалов и занятных фактов из жизни известных особ у него накопилось достаточно. Азеф, Сталин, Гитлер, Клемансо, Черчилль – о ком только Алданов ни писал. И не просчитался. В Америке его очерки шли, что называется, нарасхват, как романы в Европе.

Для нас они интересны вдвойне: Алданов иначе, чем мы привыкли, раскрывает психологию людей нам как бы хорошо известных. И оказывается, что мы с ними были знакомы очень уж односторонне и поверхностно.

Я тут опять возвращаюсь к портрету Сталина – у Алданова это не только порочная фигура. Это психологический феномен. А взять, к примеру, личность известного предателя и провокатора Азефа? По-своему он – настоящий гений преступления. Сегодня,

с поправкой на нынешнее время, читать алдановского «Азефа» поучительно, не говоря уже о том, что это блестяще, очень интересно написано.

Нам будто заново открывают глаза. Это касается и прозы, и документалистики Алданова. Все, что раньше мы читали о том же времени и его людях, отступает на второй план. Судьба многих известных людей, как и самого Алданова и русской эмиграции в целом, становится доступней нам и понятней. Хотя, между прочим, сам писатель по этому поводу говорил, что «чем больше будем знать, тем понятнее все будет глупцам, и тем непонятнее умным, и тем тяжелее».

Мата Хари советской поэзии, или Кем на самом деле была Лиля Брик

Если вы считаете Лилю Брик, как написал один мемуарист, самой замечательной женщиной XX века, я готов с вами поспорить. Другое дело, что на русском языке ни об одной женщине за последние двадцать лет не написано столько книг, сколько о ней, – это действительно так.

Самая исчерпывающая из них – книга Аркадия Ваксберга «Пожар сердца». Это переписанное и дополненное издание его же бестселлера 1997 года «Лиля Брик. Жизнь и судьба». После нее вышел еще один, имевший оглушительный успех бестселлер «Тайна гибели Владимира Маяковского». Ее автор профессиональный следователь Валентин Скорятин. Затем, когда были раскрыты материалы из секретных фондов ФСБ, в Москве и в Париже вышла сенсационная переписка сестер Брик – Лили и Эльзы…

«Пожар сердца» Ваксберга интересно читать прежде всего потому, что отношения между Бриками и Маяковским здесь показаны в широком диапазоне культурной жизни России от начала и до конца XX века. Ну а вкупе с дополненными, прежде неизвестными сведениями она позволяет снять с повестки дня не только самые острые вопросы о личности Маяковского, но и, наконец, ответить на таковые относительно Лили Брик.

Тайны мадридского двора

По сути, что касается Маяковского, особых тайн никогда и не было. Разве что до сих пор не понятно, почему он, имея свой пистолет, застрелился из чужого. И кому этот пистолет принадлежал. В остальном, особенно после еще одной скандальной книги - «Жизнеописание великой любовницы» Феликса Икшина, с Маяковским все ясно. Он был поэтом, и этим все сказано. Облаком в штанах. Футуристом. Окнами РОСТА. Потом его лодка разбилась о быт.

В конце концов каждый поэт умирает вовремя. Так что к Маяковскому лично у меня вопросов нет. Можно только принимать или не принимать его стихи. Но и тут особого выбора делать не приходится. Маяковский – огромная глыба советской поэзии, и от этого никуда не денешься. Конечно, его можно, как это происходило последние лет двадцать, почти не издавать, но так или иначе в историю русской литературы он вошел плотно и навсегда.

А вот кем была Лиля Брик, это интересно. Просто вульгарной эротоманкой? Или еще и агентом ГПУ? А может, как в Париже ее сестра, подсадной уткой? Какова роль Лили Брик в смерти Маяковского? А в расстреле Примакова? Благодаря чему Лиле Брик удалось уцелеть во время сталинских чисток? И почему так скоропостижно скончался Валентин Скорятин, сразу после того, как опубликовал в своей книге факсимиле гэпэушного удостоверения Лили Брик? ...

Вопросов тьма. Но на любой из них вы, если умеете читать, теперь найдете ответ в книге Ваксберга. Между строк, конечно. Так как пока что еще не обнаружено прямых улик, подтверждающих, например, что Лиля Брик действительно была энкаведешной подсадной уткой. Причем высшего класса. Ровно, как и ее сестра, французская писательница Эльза Триоле, которая много лет через своего мужа Луи Арагона крепила прямую связь французской компартии с советскими охранительными органами. Обе они – два сапога пара, почему, собственно, ни той, ни другой лично не коснулись сталинские репрессии. Таких ценных агентов взрастить не то, что трудно, просто не из кого. У них была совершенно уникальная психофизика, позволявшая их использовать в интересах секретных служб таким образом, что сами они об этом не всегда и догадывались.

Что касается гибели Маяковского,

для Лили Брик, вероятно, неожиданностью стало лишь то, что он сам нажал курок, решив поставить точку в своей судьбе. Даже будучи любовницей Агранова (непосредственного помощника Ежова), могла ли она допустить, что с «ее Володичкой» обойдутся так жестоко? Конечно, нет. Откуда ей было знать, что на время ее вояжа по Европе в квартиру к Маяковскому подселится ее хороший знакомый, тоже крупный спец из ГПУ Эльсберг? С Эльсбергом, когда он возглавлял отдел по устранению неугодных органам людей, Лиля Брик на два месяца ездила в Ригу. (Кстати, интересно было бы поискать в спецфондах рижской охранки того времени, не погиб ли за эти два месяца при странных обстоятельствах кто-нибудь из рижских поклонников Лили Брик). Узнай она, что на время ее европейского турне Эльсберг станет ночевать чуть ли ни в одной комнате с Маяковским, она этому наверняка воспротивилась бы.

Что касается Примакова, странно, что Лиля Брик свято уверовала в участии ее (второго) мужа в антисоветском заговоре. И что сразу после его ареста она неожиданно резко отстранилась от всего, что было у нее с ним связано. И главное, что Примаков, стойко выдержавший все пытки, вдруг стал равнодушно и индифферентно соглашаться с любыми обвинениями, которые вешали на него следователи, сразу после очной ставки с Лилей Брик…

Ай да Ваксберг!

Неважно, по каким причинам сам Ваксберг на все эти детали как бы закрывает глаза. Может, действительно, потому, что, кроме косвенных, у него нет прямых улик. Или просто не хочет открытым текстом говорить об этой стороне дела, помня о безвременной кончине Скорятина. А может, его это вообще не интересует, настолько он ослеплен личностью Лили Брик и предпочитает считать, что она, что бы ни делала, всегда поступала правильно.

Важно другое, – и Ваксберг совсем не против, – чтобы все это читалось между строк. Кстати, некоторые настораживающие вещи он даже проговаривает открытым текстом. Например, что Лиля Брик всю жизнь вела себя как профессиональный конспиратор. Уничтожала свои и чужие письма, которые могли бы сейчас на многое пролить свет, и по нескольку раз переписывала свой дневник. Или версию о том, что письмо Сталину, после которого Маяковского стали считать величайшим советским поэтом, она написала совсем не по своей инициативе, а после того, как спецслужбы с подачи Сталина снова использовали ее как подсадную утку. Сталину вдруг понадобился Маяковский, так предполагает Ваксберг, чтобы заменить им Горького.

При этом Ваксберг Лилю Брик откровенно идеализирует, во всем ее оправдывает и поддерживает. Особенно во второй части книги, где его тон заметно меняется и он позволяет себе самые грубые эпитеты по отношению к тем, кто выступает против нее. Кстати, волна нападок, которые так возмущают Ваксберга, а поздней и открытая травля Лили Брик спровоцированы были Хрущевым. Конкретно тем, что он ее со скандалом лишил «пожалованного» Сталиным права получать огромные гонорары за любые посмертные издания произведений Маяковского. Что вообще-то можно считать вполне логичным и справедливым решением, если учесть, что наследники других советских поэтов и прозаиков всегда были этого лишены. Тем более, что Лиля Брик официально, юридически никем Маяковскому не приходилась. Просто некоторое время была его любовницей. Даже гражданской женой ее назвать нельзя, поскольку за ними не числилось общего имущества.

Но Ваксберг считает ее чуть ли не ангелом во плоти, спустившимся с небес на грешную землю и терпеливо переносящим все, что неожиданно на нее навалилось. А проблемы у Лили Брик возникли потому, что из-за хрущевского демарша она вступила в состояние конфликта с властями. Что, впрочем, вряд ли распространилось тогда и на спецслужбы. Потому как, хоть она и лишилась потока гонораров, финансовое положение ее не так уж сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях некоторые молодые поэты

тех лет, бывавшие в ее доме. В эти годы Лиля Брик активно позиционировала себя большим знатоком советской поэзии и как магнит притягивала поэтическую молодежь. И еще почему-то сильно благоволила к геям. Не только отечественного разлива, но особенно западного. Зачем и в чьих интересах, объяснить пока что трудно. Хотя не исключено, что на сей раз она это делала исключительно по своей инициативе. Как-никак очень видной фигурой в этой среде стал после смерти ее сестры овдовевший Арагон. Кроме того, знаменитый режиссер Параджанов, осужденный по обвинению в гомосексуализме, в это время становится ее, можно сказать, последней любовью.

В конце книги Ваксберг много внимания уделяет кампании нападок в последние годы жизни на Лилю Брик, организованной старшей сестрой Маяковского и журналом «Огонек».

Но сдается мне, он напрасно так уж сильно нагнетает эту тему. Конечно, что было, то было. Но, по-моему, для нынешнего читателя ни сестра Маяковского, ни огоньковцы с их претензиями абсолютно неинтересны. Тем более, что, с другой стороны, какие бы силы за ними ни стояли, справедливости ради надо сказать, что у сестры поэта юридически были основания обвинять Бриков в незаконном присвоении и самой широкой эксплуатации авторских прав на наследие Маяковского. Только все это уже совсем другая опера. Впрочем, почему Ваксберг с головой уходит в эту историю, понять нетрудно. На ее фоне ему удается показать Лилю Брик вообще невинным агнцем и кристально чистым человеком.

Триумфы и падения Аксенова

Василию Аксенову удалось невозможное – он дважды вошел в одну и ту же реку. С перерывом в сорок лет Аксенов дважды пережил редкий для прозаика триумф. Самый популярный в период хрущевской оттепели писатель, он, в конце 70-х уехав в США, перестал быть интересен русскому читателю. Но затем, спустя почти сорок лет, опять стал необычайно популярен.

Написанная по заказу Голливуда эпопея Аксенова «Московская сага», будучи изданной в трех томах в Москве, долго не сходила с первой строки рейтинга книжных продаж, а роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» получил в 2005 году самую престижную в России премию Русского Букера. И тогда же на осенней ХУШ Международной книжной ярмарке в Москве эта книга была признана лучшим русским романом года. Так Аксенов опять, всем на удивление, оказался самым востребованным в России прозаиком.

Для этого потребовалось немногое – перестать дразнить читателя.

Ведь как все получилось. Пик недовольства Аксеновым у русской публики возник, когда после известного крушения нью-йоркских небоскребов писатель демонстративно на весь мир позиционировал себя как патриот Америки и заявил, что из США никогда не уедет.

Правда, и года не прошло, как он уехал. Плохи стали дела с изданием книг. Ему откровенно дали понять, что как писатель он американскому читателю неинтересен. И Аксенов, купив особнячок в Биаррице, навсегда убыл во Францию. В интервью одному еженедельнику он тогда заявил: «Мне как-то стало не по себе в Штатах. Как ни странно это звучит, я уезжал из России, спасая свою прозу. Сейчас я уезжаю из Америки в некоторой степени с той же целью – спасти свои романы. Это как реакция на неприятие того, что я пишу».

Кстати, тогда же на вопрос, не лучше ли, наконец, вернуться в родные пенаты, Аксенов, гордо тряхнув головой, заявил, что этого не будет никогда. Но опять же года не прошло, как он преспокойно приехал в Москву, стал жить в старой своей квартире (по его словам – наездами из Биаррица) и даже командовать парадом в московской писательской тусовке. Его назначили председателем жюри премии Русский Букер, чему он был невероятно рад. Он заявил, что Букер под его руководством будет бороться за укрепление в России большой литературы: «Цель Русского Букера – возвращение серьезному роману главенствующего положения в отечественной литературе».

* * *

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» были тому хорошим пример. Не назвать его романом года никак нельзя было, столь мастерски он написан. И не только в том смысле, что в книге как бы оживают старинные картины, с коих сходят благородные герои и авантюристы галантного века. Роману, кроме авантюрного содержания, еще свойственна и тонкая словесная игра, сочетающая в каждой фразе век восемнадцатый с нашим веком. Ловкое жонглирование исторической лексикой и стилем прекрасно сочетается в «Вольтерьянцах» с куртуазными событиями. Однако делается это совсем не ради высокого искусства.

Для Аксенова «Вольтерьянцы» - это прежде всего свежий взгляд на историю России. Веселый и ернический. У Аксенова тут все игра и ирония. И то, и другое для него с некоторых пор стало альфой и омегой литературного творчества. Тогда как во всем остальном, начиная с отъезда в США, когда его лишили советского гражданства, жизнь его постоянно была сплошной маетой от

скуки и какой-то специфически американской тоски. О чем он с сарказмом рассказывает в своей лучшей книге американского периода «Кесарево свечение».

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» писался Аксеновым с особым чувством, словно это его последний роман. Такое настроение – завязать! – за ним замечалось и раньше. И вроде бы, действительно, «завязал». Следующая книга «Американская кириллица» была уже сборником прежней американской прозы. Это напоминало прощание с Америкой. И вышедшая сразу за ней «Зеница ока. Вместо мемуаров» – тоже, в общем-то, солянка из опубликованных и не опубликованных прежде статей, отражающих практически «все-все-все из пережитого», как сказал один из аксеновских фанов.

* * *

Как-то тогда же, участвуя в телепередаче Познера «Времена», Аксенов выспренне заявил, что он – антисоветский писатель. И что все, что он написал в советское время, во всяком случае до «Ожога», он делал исключительно ради денег.

Когда он сказал это, а речь в передаче шла о русской идее, за столом в телестудии произошла неловкая заминка. Словно Аксенов на торжественном приеме за обедом опрокинул на себя тарелку супа… Вот такой же он и в «Зенице ока». Политически удивительно близорукий, не то, что в своих ловко написанных романах. С плеча зачем-то рубящий не только все советское, но и русское тоже. Словно он забыл, что в «Московской саге» его все увидели другим, – не американским, а все же русским патриотом. «Московская сага» была, между прочим, заказана Голливудом в расчете на то, что он, Аксенов, эмигрировав из России, очернит и испепелит ее в романе. Чего он принципиально делать не стал.

Это я к тому, что, как нередко бывает с популярными писателями, мы постоянно имеем дело как бы с двумя Аксеновыми – во-первых, с литературным мэтром, считавшимся крупнейшим на протяжении нескольких десятилетий русским прозаиком, а уже, во-вторых, - с нашим современником, в частной своей жизни сплошь и рядом делавшим серьезные промахи. Так было, когда он с Виктором Ерофеевым издал диссидентский альманах «Метрополь» –12 экземпляров самиздатского машинописного текста. Выстрел получился холостой, а жизнь этот альманах покалечил каждому, кто в нем напечатался. Все авторы «Метрополя», кроме Ерофеева и Аксенова, были изгнаны из литературы, как тогда говорили, навсегда.

Собственно, Аксенов тогда и себе чуть не свернул шею. Потому что вся дальнейшая жизнь в Америке для него оказалась оглушительным провалом. В США, кого ни спроси, не знают такого писателя. Эмиграция для него стала ошибкой. Слава богу, что он нашел в себе силы вернуться назад.

Его заявление «я антисоветский писатель» была очередной дразнилкой для читателя. Только совсем не в пресловутом «антисоветизме» главное достоинство Аксенова. Во всяком случае мы его когда-то любили не потому, что он был «антисоветский» или «советский». И уж совершенно точно не этим он будет (если будет) мил потомкам. Несмотря даже на то, что его «антисоветизм» еще раз громко хлопнет, как захлопнувшаяся дверь, в «Таинственной страсти».

* * *

Последний из законченных романов Аксенова «Таинственная страсть», как только вышел отдельной книгой, тоже сразу занял лидирующее место в рейтинге продаж. Но ненадолго. Уже спустя неделю он съехал на одну из нижних позиций и выше середины «золотой десятки» самых покупаемых книг уже не поднимался.

Ничего удивительного в этом нет. Мало кто из поспешивших купить роман, прочтя дюжину страниц, не испытал чувство разочарования. Несмотря даже на то, что в литературном мире его появление явилось событием первостепенным. В некотором смысле даже сенсационным и совершенно неожиданным. Во-первых, по тому, как небрежно он написан. Судя по всему, Аксенов, всегда тщательно шлифовавший свои тексты,

то ли очень спешил его закончить, то ли хотел поскорей от него избавиться. И, как Пилат, умыть руки.

Поэтому у него получилось, что получилось. Аксенов дописал «Таинственную страсть» за два месяца до инсульта и сразу продал все права издательскому дому «Семь дней». Это дает повод его будущим биографам утверждать, что завершить работу над своим предсмертным романом Аксенов успел, а вот доработать его, вычитать и выправить – на это у писателя времени не осталось.

Так оно, наверное, и было.

Книга, особенно первая ее треть, написана небрежно, косноязычно и как-то очень уж по-мальчишески. Настолько, что это больше похоже не на последнее произведение всеми признанного тогда литературного мэтра, а на первый опус начинающего, совсем еще зеленого автора.

Если бы Аксенов был жив, он, прочитав журнальный вариант романа, скорее всего решил бы его тщательно отредактировать. Книга получилась бы, как все у Аксенова, вполне солидная и аккуратно отутюженная до мельчайших складочек. Сейчас роман местами похож на черновую рукопись, которую не успели тщательно выправить.

Интересно, что поклонники Аксенова шокирующее косноязычие «Таинственной страсти» в упор не видят. Они это называют особым авторским юмором, писательским стебом, способом похихикать и поиздеваться над своей эпохой и над самим собой. Ну что ж, будем считать, что у меня отшибло чувства юмора и я не сумел оценить аксеновский шарм по достоинству. Впрочем, ближе к середине книги язык и стиль романа заметно выравниваются. Аксенов отделяет зерна от плевел, подает нам язык отдельно, а юмор отдельно, и читать «Таинственную страсть» становится намного интересней.

Здесь надо кое-что уточнить. При чем тут эпоха, каждому, кто держал книгу в руках, ясно. Это роман о шестидесятниках. По сути даже не роман, а воспоминания. Или скажем так – роман-воспоминание. Хотя, как многие помнят, сам Аксенов всегда говорил, что воспоминаний писать не собирается, что ему это неинтересно. Но сам-то потихоньку, оказывается, строчил в разное время разные воспоминательные главки.

Почему в разное время? Потому что стилистически роман выглядит так, словно его скомпоновали из нескольких разнородных, бог весть в какие годы написанных кусков. Взяли и механически сложили в одно целое - наспех, второпях. Некоторые периоды жизни, в частности, годы, прожитые писателем в США, никакого отражения в романе вообще не получили. Между тем это было самое драматичное время в его жизни. Виктор Ерофеев неслучайно сказал в одном интервью «Литературной газете», что Аксенов, которого Америка всегда пленяла, прожив там несколько лет, очень сильно в ней разочаровался, и ему это доставило массу огорчений.

А вот почему роман называется воспоминательным, стоит уточнить. В предисловии Аксенов настаивает, что все персонажи его книги наполовину выдуманы как обычные литературные герои. Дескать, не надо их так уж прямо отождествлять с Евтушенко, с Окуджавой, с Ахмадулиной и еще с дюжиной носителей культовых имен той далекой поры. Для этого он им даже прозвища придумал, подражая, вероятно, Валентину Катаеву, сделавшему то же самое в своей блистательной книге «Алмазный мой венец». Только в «Таинственной страсти» это получилось вовсе не блистательно, а как-то куце и неуклюже. Как будто Аксенов опасался обид и претензий по поводу тех оценок, которые он дает своим собратьям по цеху.

Оценки, между прочим, очень суровые. Настолько, что читательское мнение практически обо всех, кого Аксенов так или иначе касается в романе, наверняка изменится, и даже очень кардинально. Что, в общем-то, и говорит о том, что никакой это не роман, а самый распространенный род воспоминаний - с характерным авторским взглядом на людей и события тех лет. Прозвища, придуманные Аксеновым, никого из фигурантов его книги не спасают. Он всех их мажет одним цветом.

Авторская позиция тут сложная и противоречивая. С одной стороны, Аксенов оглядывается на прожитые в литературе годы

с любовью и ностальгией. Потому что ничего другого – более прекрасного и светлого – в его жизни не было. (Кстати, изначально он готовился к совсем иному, не писательскому поприщу, по образованию Аксенов медик, врач).

С другой стороны, как мэтр российской либеральной интеллигенции он считает нужным быть в оппозиции почти ко всему, что тогда, в советское время, при хрущевской «оттепели» и позже происходило в жизни и в литературе. Аксенов чистит свои перышки в стороне от своих «кондово советских», как он их клеймит, собратьев по цеху. Аксенов рассказывает о них разные удивительные истории (частью, мягко говоря, вымышленные) с нескрываемой иронией, тогда как самого себя выставляет чуть ли ни единственным в литературе тех лет последовательным и непримиримым антисоветчиком. И к тому же этаким героем-плейбоем, чуть ли ни сексуальным гигантом. Что вызывает невольную улыбку, особенно когда начинаешь разглядывать обильно представленные в книге фотоснимки. Смазливый парниша с далеко не атлетической внешностью на такую роль совсем не тянет. Да и по части порядочности у Ваксона (такое у него прозвище в романе), похоже, были проблемы. Во всяком случае рядом с Окуджавой и даже Рождественским его в романе поставить трудно.

Но Аксенов, похоже, не очень-то это и скрывает. Беспорядочные личные и все прочие отношения между героями советской богемы тех лет говорят о том, что не так уж эта публика была разборчива в своих поступках, если не считать модного тогда политического фрондерства. Измены и предательства, как это ни странно, в их среде являлись вполне общепринятой вещью. И не только в том смысле, что, собираясь вместе каждое лето в Коктебеле, они частенько обменивались между собой мужьями и женами. Случались измены посерьезней. Аксенов совсем не ради красивого словца назвал роман «Таинственной страстью».

Ошибется тот, кто сочтет, что тут подразумевается страсть к литературному творчеству. Это словосочетание Аксенов позаимствовал из стихотворения Беллы Ахмадулиной. Полная цитата звучит весьма определенно и недвусмысленно: «К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи…» – писала в своих стихах поэтесса.

Об этом – книга Аксенова. И в этом ее главный нравственный посыл как движущей силы развития сюжета.

Аксенов, похоже, таким заглавием хочет оправдать то, что и сам он в романе (и в жизни, прямо скажем, тоже) предает всех и вся. Вполне осознанно, словно такое предательство сегодня – норма поведения. Как Пилат, предающий Христа, он спешит продать свой роман издательскому дому, чтобы поскорей умыть руки и… будь, что будет. Выдуманные прозвища очень многим известным людям тех лет он, между прочим, дает с одной единственной целью – чтобы те, кому не надо, не вникали в личные подробности его персонажей.

Вот почему у каждого, кто так или иначе считает себя причастным к шестидесятничеству, этот роман Аксенова вызывает брезгливое чувство. Слишком много негатива выливает Аксенов на головы столпов шестидесятничества. Среди них в романе не остается ни одной незапятнанной личности, если не считать, конечно же, самого автора книги. Повествование построено так, что любого персонажа можно хоть в чем-то упрекнуть. Боюсь, что у читателя, в те времена еще не жившего и о поэтах и прозаиках-шестидесятниках мало знающего, ничего, кроме недоумения и неприязни, герои «Таинственной страсти» не вызовут. Аксенов всех сумел, хоть чуточку, показать в неприглядном свете.

* * *

«Таинственная страсть» почти год считалась последней книгой Аксенова. И вдруг на прилавках магазинов появился еще один последний его роман. Верней, повесть – неоконченная и с двойным названием «Лендлизовские. Lend-leasing».

Похоже, над ней писатель работать начал параллельно с «Таинственной

страстью». В них даже прозвища главных героев перекликаются. Ваксон из «Таинственной страсти» тут предстает перед нами в свои мальчишеские годы, и зовут его странным именем Акси-Вакси.

Повесть обнаружилась в компьютере писателя. Сын Аксенова нашел после похорон отца файл, где оказалось двести страниц незаконченного текста книги, о которой краем уха слышали только несколько человек. Аксенов кому-то обмолвился, что то ли он еще только собирался, то ли уже начал писать автобиографическую повесть о своем военном детстве. И вот она перед нами. Не законченная и автором не отредактированная. Местами вызывающая читательские восторги аксеновской прозой и ее искренностью, а иногда, в частности, последними своими главами ставящая читателя в тупик.

В жизни каждого человека есть что-нибудь такое, о чем вспоминать и тем более выносить на люди он не считает нужным. Для Аксенова это были мальчишеские годы, когда арестовали его родителей, а сам он попал в приют для детей «врагов народа».

В приюте его разыскал и увез к себе брат отца. Затем до окончания войны и еще некоторое время после нее мальчишка провел в Казани, в доме своей тетки. Тяжелые, голодные годы, часто на грани выживания впечатались в биографию писателя, как сильный ожог. Как-никак выпали они на возраст школьника средних и старших классов, когда формируется характер, а иногда и судьба.

Аксенов сохранил очень болезненные воспоминания обо всем тогда пережитом и ни за что не хотел об этом писать. Не думаю, что лишь потому, как считают некоторые, что ему было бы нелегко пережить все заново. Причина, наверное, в другом. Приехав в Москву и поступив в медицинский вуз да еще и занявшись литературным трудом, Аксенов настолько круто изменил свое социальное положение, свой круг общения и интересов, что вновь окунаться в кошмар казанского детства ему очень не хотелось.

А детство у него – по крайней мере по современным меркам – было страшное. Читая об этом в повести, удивляешься, что такое вообще в жизни ребенка могло случиться. Тотальный голод, безотцовщина и полное неведение о судьбе родителей, а потом еще и осознание, что ты сын осужденных «врагов народа»… И нищета, заброшенность, уголовная подростковая среда общения и многое другое.

Аксенов касаться этого не любил. Все его прежние книги наполнены романтикой духа, поэтому работая в последнее время над автобиографической повестью, он жаловался, что ему «надоел этот соцреализм» и что он никак не может вырваться из его тисков. И действительно, обычно материал сам определяет форму, как разливающаяся река - русло. Вот почему в этой книге как раз наиболее сильными и интересными получились именно те фрагменты, в которых писатель просто рассказывает о своем военном детстве. Правда, местами он все-таки, как взбрыкивающий конь, не может удержаться от свойственных ему гипертрофических и даже фантасмагорических виражей.

Дело еще и в том, что «Ленд-лизовские» – не столько воспоминания, сколько писательское видение себя в прошлом. Герой повести Акси-Вакси не вырастает из тех условий, о которых пишет автор, а будто инородное тело вбрасывается в них. Потому, собственно, и такое необычное имя придумал Аксенов своему герою – маловероятное и ироничное.

Читая «Ленд-лизовских», невольно вспоминаешь другую почти одновременно вышедшую книгу, с которой писатель, конечно же, был знаком. Я даже думаю, что именно после того, как Аксенов ее прочитал, у него возникло желание написать о своем детстве тоже. Это автобиографическая повесть Окуджавы «Упраздненный театр». В ней описывается точно такая же ситуация с родителями и такие же мытарства по родственникам. Даже манера повествования у Аксенова и Окуджавы похожая. Только условия жизни все же другие. И именно ради того, чтобы рассказать о них, – дескать, у меня все было точно так же и в то же время по-другому - Аксенов мог решиться написать

о своем детстве

В «Ленд-лизовских» герой повести, как и в «Упраздненном театре» Окуджавы, предстает перед нами в двух ипостасях. В основном рассказ идет от первого лица, но местами так, будто автор смотрит на своего Акси-Вакси со стороны и даже пишет о нем в третьем лице.

В остальном общего между этими повестями, конечно, мало. В частности, Аксенов в своей последней книге словно бы решился раскрыть небольшой секрет – открыть истоки его западнического умонастроения, его пристрастия к американскому джазу и его представлений о свободе как основе всего в человеке и в обществе.

Получается, что все это у него тоже из военного детства. На Аксенова в суровые военные годы сильное впечатление произвела огромная (по его словам, так прямо гигантская) гуманитарная помощь, которую оказали союзники воюющей России. Аксенов уверен, что если бы не американские ленд-лизовские продукты и ширпотреб, то ни он, ни тысячи и тысячи его сверстников просто не выжили бы в условиях военного времени.

Тогда для двенадцатилетнего Акси-Вакси Америка и стала волшебным краем света. Ему казалось, это сказочная страна, где есть все, что душе угодно. Поэтому люди там живут свободно и счастливо. Эти три понятия – ленд-лизовские поставки, свобода и счастье – с раннего детства настолько глубоко вошли в сознание писателя, что потом на протяжении всей жизни очень многое определяли в его судьбе. Во всяком случае, до тех пор, пока он не уехал в США, государство, как он считал, совершенно идеальное, и не прожил там несколько лет.

Первые годы жизни в Америке он был так горд этим своим выбором, что даже держал у себя на письменном столе в стакане для карандашей американский флажок. А потом, как похмелье, пришло разочарование. Ну не мог он себе представить, что американцы не будут читать его романы.

После этого единственным, за что он, как утопающий за соломинку, продолжал еще крепко держаться, остались лишь его либеральные представления о свободе. Не проходило почти ни одного публичного выступления Аксенова, где бы он не позиционировал себя в качестве ее миссионера. И это тоже коренилось в его ранних представлениях о свободном мире, так прихотливо рисовавшемся в мальчишеском воображении Акси-Вакси.

Вторая особенность книги – это добротная проза.

Вполне естественно, что человек в пожилом возрасте, если он не вел дневников, немногое может вспомнить о своем детстве. Какие-то краски, запахи, даже лица Аксенову удается отыскать и извлечь из своей памяти. Все остальное, разные детали и многие мелкие частности тех эпизодов детства, которые так ярко и выпукло описаны в книге, Аксенову приходится придумывать и воссоздавать заново примерно так же, как талантливейший антрополог Герасимов по черепу восстанавливал лица. И именно поэтому книгу интересно читать.

Еще одну необычную особенность «Ленд-лизовских» – чем повесть совершенно не похожа на все, написанное Аксеновым раньше, – отметил близкий его друг Анатолий Гладилин: «Это единственная книга, где он себя жалеет».

Возможно, Аксенов знал за собой эту слабость и именно поэтому избегал писать что-либо о своем детстве. Тот же Гладилин рассказывает, что если Аксенову все же случалось в разговоре вспоминать омраченные военными условиями детские годы, на глазах у него обычно проступала слеза.

Аксенов был человеком весьма чувствительным, что проявлялось в его романах в довольно причудливой форме. Он внезапно впадал в литературный раж и начинал заполнять страницу за страницей самой невообразимой фантасмагорией. Мы видим это, в частности, в некоторых главах его поздних романов «Москва-ква-ква» и «Редкие земли».

С «Ленд-лизовскими» произошло то же самое. Книга считается не оконченной прежде всего потому, что ее вторая часть - это сорок страниц типографского текста - представляет

собой неупорядоченные и очень нервно, второпях записанные наброски невнятного содержания. Одна за другой, почти как в конспекте, следуют какие-то диковинные картины советского детства и странные приключения юных пионеров и комсомольцев. Писателя здесь, как без руля и без ветрил, несет неведомо куда, а под занавес он так же хаотично начинает нагромождать один финал на другой, совершенно не контролируя себя и потеряв всякое чувство меры. Язык его становится неразборчив, о чем он пишет, понять уже совершенно невозможно…

Дмитрий Быков в предисловии к «Ленд-лизовским» сообщает широкой публике, что с Аксеновым за рулем, в пути, случился ишемический удар, от которого он, спустя полтора года, так и не придя в сознание, скончался. Когда читаешь последние страницы повести, невольно приходит мысль, что уже здесь, за монитором, у писателя стали проявляться признаки страшного заболевания. Потому его и понесло. А затем он, так и не справившись с текстом, выключил компьютер, спешно сел за руль своей машины и… случилось несчастье.

Мужской роман Анатолия Гладилина

Не знаю, кто как, а я соскучился по хорошей русской прозе. И даже потерял надежду, что русские Невтоны способны хоть что-то путное рожать. Поэтому велик был мой восторг, когда я начал читать «Тень всадника» Анатолия Гладилина. Можно сказать, это настоящий шедевр русской прозы начала XXI века. Умный, ловко скроенный, полный неожиданностей современный роман.

Перед Гладилиным даже неудобно. Обычно, во всяком случае для меня, он всегда шел в фарватере Аксенова и числился вторым номером среди шестидесятников. Аксенов считался мэтром современной русской прозы, ее альфой и омегой. Все ждали от него каких-то невероятных свершений, но так и не дождались.

После отъезда Аксенова в США каждая его новая книга приносила больше огорчений, чем приятных сюрпризов. Пока, наконец, беллетризованные воспоминания писателя «Таинственная страсть» не разочаровали всех окончательно. А когда вышел его последний роман «Ленд-лизовские», эта книга, на мой взгляд, вообще перечеркнула все наследие писателя. Она, как лакмусовая бумажка, высветила всю неизбывную червоточину аксеновских романов. Вызывающе выставила напоказ невнятицу, которая под той или иной маской обязательно проявлялась в каждой его книге.

Точку в необычном явлении русской культуры, которое мы называем «литература шестидесятников», ставит сегодня ее зачинатель Гладилин. Ему дано сказать заключительное слово. Вышедший двухтомник прозы Гладилина подводит под шестидесятничеством ясную черту. Этот двухтомник демонстрирует его азы и его итоги. И становится понятно, насколько близорук был рядовой читатель, не видя леса за деревьями.

Впрочем, что читатель! Гладилин и сам до сих пор считает, что лучше всех в русской литературе писал Аксенов. По стилистике русского языка, по игре со словом, по обладанию магическим даром русского слова равных ему нет – утверждает Гладилин. Эти три качества он называет потому, что полагает их самыми важными в русской прозе. Но Аксенов парадоксальным образом именно по этой части всегда был слаб. Виртуозом его назвать трудно. Единственное, в чем силен Аксенов и что любил делать – это пофантасмагорить, пустить читателю пыль в глаза. И делать это он действительно умел. Но сводить концы с концами, доводить свои романы до заключительного апофеоза так и не научился. Если судить по книгам Аксенова американского периода и по тому, что выходило из-под его пера после отъезда из США, романа, подобного гладилинскому «Тень всадника», ему было не написать. Кишка тонка.

«Тень всадника» – виртуозно написанный роман. Архитектонически он от начала до конца выверен с изысканной точностью. Все сюжетные линии – и исторические, и современные – сводятся в эпилоге в единую точку. Классика жанра выдержана с блеском. Хотя как раз этим Гладилин мог и пренебречь, так как сегодня модно не сводить концы с концами, а, наоборот, оставлять их торчащими во все стороны, как солома в стоге сена. Теперь мовизм в почете: чем хуже пишешь, тем больше, выходит, свободы себе предоставляешь. И именно это почему-то высоко ценится нынешним читателем. Не только в книгах Аксенова, но и у Быкова, и у Сорокина, у Минаева, у Робски…

Для Гладилина, наоборот, такая проза – дурной тон. Правда, не надо забывать, что Гладилин хоть и русский формально писатель, но на самом деле за тридцать лет эмиграции он прошел европейскую выучку и потому стоит

особняком среди новомодных российских прозаиков. Они лихо пишут, но сказать им нечего. Они – рассказчики, в лучшем случае – мистификаторы. Интерпретаторы, короче говоря. Дай им тему – зальются соловьями, растекутся словесами по древу. Для настоящего писателя этого мало. Писатель больше, чем обычный прозаик. Талант рассказчика и фантазера он использует лишь как способ или средство выразить нечто большее. Помимо умения рассказывать, он еще знает, зачем он это делает.

Для Гладилина это имеет значение вдвойне – и как раз потому, что он из тех, кого называют писателями-шестидесятниками. Он говорит: «Я был типичным шестидесятником, то есть искренне верил в светлое будущее». Со светлым будущим, как известно, ни у кого ничего не получилось. Но это одна сторона медали. Есть и другая. Шестидесятники не меняются. Эта категория людей остается такой, какой была, на всю жизнь. Светлое будущее для них – лишь метафора, за которой стоят две вполне конкретные вещи. Это вера в добро и вера в прогресс. Тут прошедшего времени не бывает. Либо ты по-прежнему веришь, что и составляет твой хребет, либо ни во что уже не веришь, и тогда ты – тварь бесхребетная, ничего общего с шестидесятниками не имеющая.

Гладилин ко всему прочему был самым первым шестидесятником. Человеком, с которого все началось. По крайней мере в литературе. Сам он скромно уступает пальму первенства Рождественскому и Евтушенко, мол, они гораздо раньше стали известны читателям. Да, соловьи уже пели в роще. В московских газетах в середине 60-х нет-нет да печатались их стихи. Но перелом в литературе и в сознании читающей публики (тогда невероятно многочисленной) наступил чуть позже. Когда в журнале «Юность» в 1956 году неожиданно напечатали повесть никому еще не известного студента Литинститута Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского».

В чем там была фишка? О, их было несколько!

Во-первых, перед самой публикацией автора хотели отчислить из института за несостоятельность. Слава богу, не успели. Во-вторых, название повести открыто перекликалось с западной литературой – с названием романа известного в свое время во Франции литературного бунтаря Мериме «Хроника времен Карла IX». Но это все цветочки. Важность, конечно, в другом. Роман этот Гладилин написал о том, что происходило «в эпоху перемен» (т.е. после смерти Сталина) с молодежью и, главное, с языком, которым эта молодежь тогда говорила. Повесть стала первой ласточкой в литературе хрущевской оттепели.

Обычно эти лавры мы приписываем Аксенову, но только потому, что мы упускаем из виду, когда появился его роман «Коллеги». А появился он только три года спустя после «Хроники времен Виктора Подгурского».

Таким образом, первым прорабом хрущевской оттепели был Гладилин. Публикация его романа в центральном молодежном журнале с гигантским тиражом означала, что в стране и в ее руководстве (так тогда по крайней мере казалось) окончательно и бесповоротно произошла ломка взглядов. О Гладилине заговорили, на него равнялись, он сделал погоду. Хотя тогда это еще мало кто понимал.

Время было особенное. Вскоре вышли «Коллеги» и «Звездный билет» Аксенова. Воображением молодежи завладели поэты, собиравшие многотысячные форумы. Тогда же стали печататься мемуары Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Впрочем, Эренбург к шестидесятникам не относился, хотя обеими руками был за них. Вообще парадоксально вот что: массовой тогда была читающая публика, а всколыхнувшая публику и сплотившая ее в единое «диссидентствующее племя» группа шестидесятников была очень малочисленна. Кроме Гладилина с Аксеновым, не наберется и десяти имен. Это поэты Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, прозаики Казаков, Кузнецов, Владимов, Войнович и бард Окуджава. Остальные примкнули к ним гораздо позже.

Много лет спустя, Гладилин напишет

в воспоминаниях: «Это была эпоха торжества книги. Царил ее культ. Помню, как в метро или электричке все читали книги или газеты, а сейчас – только эсэмэски на мобильниках».
Поэтому и книгу издать тогда было грандиозным событием, можно сказать, событием вдвойне – одно для автора и другое для читателя. Спайка между ними была крепкая. Как говорит Гладилин, шестидесятники успели перевернуть сознание двух поколений своих читателей, «приучили их смотреть критически на окружающую действительность». И самое важное – что напрочь отсутствует в наши дни – не принимать на веру ничего, в какой бы глянец это ни было завернуто.

Но недолго музыка играла. У Гладилина выходили одна повесть за другой, но каждая со все большим скрипом. Как он считает, хрущевская оттепель закончились, когда они с Аксеновым и еще несколькими писателями подписали письмо за освобождение Синявского и Даниэля.

Это был 65-й год. Еще лет десять Гладилин тянет лямку, но пишет в основном в стол. В литературных верхах курсирует устойчивое мнение, что «воспитанию советской молодежи мешают происки американского империализма и книги Анатолия Гладилина»…

Историческая перекличка с Мериме оказалась вещей и пророческой. Когда стало ясно, что поставлен крест на его современной прозе, Гладилин хватается за последнюю соломинку: переключается на исторические романы. И надо сказать, это для него превратилось в своего рода страсть, в способ мышления, который, в конце концов, насквозь пронизал и его лучший роман «Тень всадника».
Но написан этот роман будет нескоро, спустя почти сорок лет. И в Париже, куда Гладилин эмигрирует в 1976-ом вместе с семьей.

Вышедший в 2010 году трехтомник гладилинской прозы включает далеко не все, что он написал, а только этапные произведения. Кстати, в эмиграции писателю большую часть времени пришлось заниматься исключительно журналистикой. Почему? Он считает, что работа не оставляла времени для писательского творчества. Но тут он либо чего-то не договаривает, либо не до конца осознает природу своего таланта.

Дело не совсем в отсутствии свободного времени. Несколько замечательных книг Гладилин в Париже все же написал. Дело в том, что с первой же своей книги он как писатель занимает аполитичную позицию. Писать прозу для него значит уходить от идеологических страстей. Что, как это ни парадоксально, не мешало каждой его новой книге становиться настоящей идеологической миной замедленного действия. В назначенное время мина взрывала все – и сознание читателя, и окружающую среду. Советскую, французскую – не важно. Сейчас он, например, издал новую книгу «Жулики, добро пожаловать в Париж». Когда речь заходит об издании ее на французском языке, Гладилин невольно ежится. Как поведут себя по отношению к нему французы, неясно. Могут в суд подать, могут затаить обиду, настолько резко и нелицеприятно рассказывается в книге о парижских нравах.

Но главное состоит в том, что не столько отсутствие времени, сколько работа мешают творчеству. Работа у него самая что ни на есть политическая. Из тридцати пяти лет эмиграции Гладилин двадцать лет проработал на «Радио Свобода» (в парижской студии) и восемь – на «Немецкой волне». И лишь когда по-настоящему прижало и в голове полностью созрел роман «Тень всадника», Гладилин ушел с работы. В итоге в 2000 году книга увидела свет. А спустя еще восемь лет вышли и его воспоминания «Улица генералов». Это знаменательное событие, потому что уже давно, практически со времен Эренбурга, ничего соразмерного его мемуарам «Люди, годы, жизнь» в русской литературе так и не появилось. «Улицу генералов» можно читать именно как продолжение воспоминаний Эренбурга. То есть как рассказ о том, что случилось с советской литературой после того, как Эренбург свою «галерею памяти» закрыл.

«Улица Генералов» – книга, конечно, о жизни самого Гладилина, но это всего лишь фон, на котором показаны все основные собы-

тия в русской литературе после хрущевской оттепели. Включая, между прочим, и литературную эмиграцию последних сорока лет. Книга составляет основную часть первого тома гладилинского трехтомника, куда вошли еще «Хроника времен Виктора Подгурского», старая повесть «Дым в глаза» и написанный в эмиграции рассказ «Меч Тамерлана».

Настоящим праздником души для читающей публики стал второй том – роман «Тень всадника». Гладилин считает его главной книгой своей жизни. Этот роман, с точки зрения формальных новаций, интересней всех предыдущих. Острый сюжет, куртуазные любовные истории и загадочная детективная интрига держат читателя в приятном напряжении. Формальные поиски тут не подавляют, как это происходит у многих современных авторов, а наоборот помогают раскручивать нить самых неожиданных событий.

Пожалуй, главным достоинством романа надо считать полифоничность мысли и ощущений. Он метафизичен. В нем сочетается несочетаемое. Или то, что раньше таковым казалось. И круто перемешаны времена – его герои живут одновременно в условиях французской революции, наполеоновских войн, горбачевской перестройки и современной Калифорнии.

Как со всем этим управляется автор, диву даешься. Главный герой - он и агент чьих-то спецслужб, и профессор истории, и шведский король, и наполеоновский офицер одновременно. Всё в одном лице, в разных странах и временах. Кстати, не обойдена и Рига. История еврейской семьи, чья дочь становится успешной американской бизнесменшой, начинается в советской Риге, что для рижан придает роману особую пикантность.

Но больше всего удовольствия получаешь от того, как он написан. Гладилин всегда много внимания уделял формальным поискам. В «Тени всадника» он выделывает такие сюжетные и стилистические виражи, такие пируэты, что дух захватывает от восторга. И что замечательно: в отличие от современных постмодернистских трещеток он виртуозно владеет стилем, формой, словом и неизменно держится в рамках классического романа.

Как Булгаков в «Мастере и Маргарите», Гладилин широко использует исторические параллели. Только его переходы из одной эпохи в другую, от психологии исторических героев к психофизике современного человека происходят гораздо органичней и тоньше. Кроме того, весь роман у него пропитан ненавязчивой, едва заметной иронией. Это облагораживает текст, делает его воздушным и летучим. Иногда в «Тени всадника» случаются совершенно невероятные пертурбации, но выход из них всегда оказывается простым и естественным.

Вообще, Гладилин, наверное, любитель крайностей. Как каскадер, он испытывает себя в опаснейших ситуациях, выходя из них целым и невредимым. Зато у читателя нервы выдерживают не всегда. Одна критикесса, прочтя роман, отозвалась о нем очень кисло. Дескать, автор не соблюдает элементарных приличий и в своих мужских эскападах теряет чувство меры и такта.

Это верно, есть в «Тени всадника» очень рисковые, слишком откровенные и даже сальные эпизоды… Кстати, меня поразило в романе отменное знание женской психологии и разных дамских заморочек. Тут Гладилин – дока, что просто поразительно. И, надо сказать, меняя гендерные рельсы, в мужской ипостаси он выступает не так динамично, как в женской.

Так вот о сальностях и прочих скабрезных местах, иногда действительно граничащих с порнографией. Я могу сказать только следующее. Есть ведь женские романы, которые мужчины, хоть и пишут их, но, как правило, никогда не читают. Почему не может быть мужских романов?

«Тень всадника», между прочим, задуман именно как мужской роман. Автор не считает нужным обуздывать свое воображение. Он имеет на это право. Тем более, что пишет-то Гладилин о чем угодно просто мастерски. Любительницам женских романов могу только посоветовать этот, мужской, роман не читать, коль уж он им так

режет ухо, колет глаза и жжет пятки.

Но каждый читающий роман рано или поздно задумывается, что подразумевает Гладилин под тенью всадника? Для него – это тень мужчины. Это все, что остается от мужской удали на склоне лет. Амбиции, его чувства, самоощущение.

«Тень всадника» написан пожилым человеком, который нелегко переживает свой преклонный возраст. Это роман о психофизике стареющего мужчины. Потому здесь немало разной медицинской атрибутики. Потому здесь и главная героиня – вызывающе молодая женщина, в общем-то, пардон, типичная сучка, красивая стерва.

В романе все продуманно и сбалансировано. Именно потому здесь рефреном постоянно звучит полуфраза «то, что доктор прописал». А сальности, вольности и прочие излишества – ну, положим, редактор их уберет. Вы думаете, роман от этого выиграет? Я сомневаюсь. Если убрать это, захочется убрать что-нибудь следующее. Так от хорошей книги может ничего не остаться. Да будет книга! На нашем-то безрыбье… Ведь роман этот, гладилинский, сегодня всем романам – роман.

Синдром Фауста, или Петля для диссидента

Новая книга Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» не могла не вызвать фурор. Тем более, что на обороте обложки сказано: роман претендует на первостепенное место в иерархии книг, формирующих идеи и осмысливающих эпоху. «Зеленый шатер» – о русском диссидентстве.

Улицкая дает идеологическую панораму событий, пережитых ее поколением на протяжении полувека после смерти Сталина. Но в первую очередь писательницу интересуют, конечно же, не сами события, а люди, выстроившие под знаком его смерти всю свою биографию. Их называют не каждому теперь понятным словом «шестидесятники». Многие из них потом стали еще и диссидентами. Иначе говоря – это книга о той части советской интеллигенции, чьими руками на постсоветском пространстве в 90-е годы начал создаваться так называемый «новый порядок», который мы теперь имеем радость лицезреть у себя во всем его величии и блеске.

Улицкой давно не давал покоя ее собственный опыт прикосновения к диссидентству. В 1970 году, скоро после окончания вуза, она за перепечатку самиздата лишилась очень приличной работы в НИИ. Тогда это называлось «сам читал и другим читать давал». А тут еще и размножение на пишмашинке. Не посадили ее чудом. За это сажали, как за уголовное преступление. После чего, выйдя на свободу, человек зачислялся в диссиденты.

Что ее уберегло от срока, неизвестно, но с тех пор написать об этом ей хотелось всегда. Наконец, материала для книги накопилось выше крыши. На целую «Войну и мир». Но для «Войны и мира» нужен Лев Толстой, а Улицкая – это все-таки женская проза. К тому же, по ее собственному признанию, эпопей она сочинять не любит, ей больше по душе малые жанры.

Вначале написала – и прекрасно, между прочим, – что-то вроде повести о детских годах своих героев. Самым впечатляющим событием для них были похороны генералиссимуса. Там же набросала скелет всей дальнейшей истории. О том, как из прекрасных городских деток, омытых хрущевской «оттепелью», вырастали советские интеллигенты-диссиденты. Получилось все, в самом деле, очень интересно. Но дальше начинался Лев Толстой. Надо было выстраивать разветвленную эпопею о том, как советская интеллигенция в конце концов вся перессорилась, развалила страну и потекла кто на Запад, кто на Ближний Восток. И еще объяснять, почему «одни были за справедливость, но против родины, другие против власти, но за коммунизм… А были ведь еще и националисты, мечтающие о независимости своей Литвы или своей Западной Украины, и евреи, которые твердили только об отъезде…».

Выстроить каждую судьбу и сплести их все вместе оказалось невероятно трудно. Там ведь надо было еще и объяснить, как могло получиться, что, например, властелин дум советских интеллектуалов Синявский обозвал Россию сукой, зачем-то окрестил Солженицына «недообразованным патриотом» и чуть ли не обвинил в стукачестве. А потом сам же почему-то скоропалительно слинял в Париж. Причем сделать это надо было так, чтобы не пострадало ничье реноме.

Без толстовского дара тут было не обойтись, и тогда Улицкая решила, пусть получится то, что получится. Так у нее получился роман-складень. Из одной повести и множества новелл, в которых по отдельности развивалась и гасла судьба каждого из деток сталинской поры. В жанровом отношении это очень даже модно и современно. И, надо признать, несмотря на то, что женский взгляд в «Зеленом шатре» сквозит отовсюду, – читается книга с любопытством. Даже с

некоторой оторопью.

Дело в том, что наспех сбалансированные и по-женски написанные истории отдельно взятых героев приводят в книге Улицкой к неожиданному открытию. Положим, то, что поколение «шестидесятников» было инфантильно – это не новость. Открытие в другом: их инфантилизм, неумение устроить свою личную жизнь и беспомощность в социумных делах в итоге и стал питательной средой для возникновения диссидентского движения.

Одна уже эта идея достойна, чтобы написать такую книгу как «Зеленый шатер». Но у всякой медали есть оборотная сторона. Не знаю, сознательно Улицкая подводит нас к следующей мысли или этот вывод в книге напрашивается сам собой, но он убийственен. Улицкая утверждает, что диссидентам был свойственен синдром Фауста. Трагизм диссиденства заключается в том, что в силу неизбежного соприкосновения с разными спецслужбами диссиденты – можно сказать, как Фауст, подписывающий мефистофелеву бумагу, – как бы сами заготавливали себе петлю на шею. Многие из них рано или поздно принудительно становились стукачами.

Уберечь от этого могла лишь внезапная смерть.

«Зеленый шатер» считается книгой очень серьезной и одновременно смешной. Верней ироничной. Улицкой свойственна эпическая ирония, когда смеющийся или иронизирующий сам толком не знает, над чем он смеется. А ведь действительно, предмет для разговора серьезней, чем о диссидентских судьбах, найти, наверное, трудно. Ну, а ирония – средство спасительное. Она многое сглаживает. В нашем случае даже не чью-то вину, а ситуацию в целом.

Впрочем, здесь все-таки совсем немаловажно, над чем иронизирует Улицкая. Над чем же она смеется? Сразу не поймешь. Но постепенно каждый читатель романа догадывается об этом по-своему. Выразить догадку словами ему вряд ли удается. Да это и необязательно. Ощущения надежней слов. Зато улавливая, пусть даже приблизительно, смысл ее иронии, мы понимаем главное – чем ее роман нам нравится. Или чем он нас раздражает.

Кстати, об инфантилизме. Улицкая вроде бы мудрая женщина. Ее кредо – нет правды на земле, нет ее и выше. Только вот дальше ее мудрость почему-то не простирается. Улицкая намертво отгораживается от другой простой мысли – что власть в принципе везде одинакова. И предназначение любой власти в том, чтобы, как говорит об этом сама же Улицкая, быть по сатанинской своей сути всегда сильнее обыкновенного среднего человека и, когда понадобится, суметь «уничтожить его и разорить».

Учитывать этого Улицкая не хочет. Наверное, потому, что она относит себя к той пятипроцентной прослойке российского населения, которую при каждом удобном случае во всех своих публичных выступлениях нахваливала Новодворская*. У этих «избранных» и посвященных особый взгляд на жизнь. Они не принимают никакую российскую власть, в каком бы исполнении она ни существовала, как «авторитарно-хамскую».

Прочитав в самом конце «Зеленого шатра» сакраментальную фразу – «всех советская власть убила», я усмехнулся. А меня? Или тебя, моя милая? Почему она тебя не угробила за перепечатку самиздата? Может, были особые причины?.. И еще подумал: господи, как уже надоело судить и осуждать прошлые времена и плевать в колодец, из которого столько воды выпито.

* Валерия Новодворская (1950-2014) — советский и российский политик, публицист и общественный деятель. Основательница оппозиционной партии «Демократический союз».

Энтомологические экзерсисы Бориса Акунина, или Почему детям не надо читать его «Детскую книгу»

Уже не один десяток лет Борис Акунин со своим «новым детективом» лидирует в книжных рейтингах и топах продаж. По величине тиражей и покупательской востребованности ему нет равных. Конкуренцию Акунину способна составить только Дарья Донцова, но и то лишь по количеству написанных в год романов. Если Акунин умудряется издать чуть ли ни одновременно два-три своих шедевра (например, сразу после первого тома «Истории Российского государства» у него вышли еще и две исторических повести), то Донцова выдает ежегодно по четыре детектива. По опубликованным российским Центром изучения общественного мнения результатам оба этих автора до сих пор признаются наиболее популярными у русского читателя. «Лит. газета» по этому поводу пишет: «Во времена Горького, Куприна и Л.Андреева тоже выходило огромное количество чтива для невзыскательной публики. Но популярную серию про сыщика Ната Пинкертона никто не считал литературой и не проводил по этой макулатуре пресс-конференций и дискуссий. Акунин и Донцова создают декоративный, искусственный кукольный мир, лишая литературу ее исконной серьезности, ее почти сокрального ореола».

Но что поделаешь, либеральная революция 90-х годов подкосила российскую литературу под самый корень. Сегодня считается, что та или иная книга заслуживает внимания, только если она увлекательно написана. И больше того – только если она содержит хоть какую-то тайну. Акунинские романы напичканы этими тайнами под завязку. Причем открывает он их очень дозированно и скупо, постоянно, как наркодилер наркомана, удерживая читателя на игле.

Загадочно у Акунина все, вплоть до имени его главного героя и своего собственного тоже. Так о секрете его псевдонима мы узнаем, прочитав уже почти два десятка акунинских книг, – в фандоринском романе «Алмазная колесница». Оказывается, по-японски акунин означает подлец. Имеется в виду подлец ниндзя, участник одной из древнейших японских бандитских группировок, в совершенстве владеющих искусством убивать.

* * *

«Алмазная колесница» – это роман-приквел, он раскрывает предысторию прежде написанных книг. Здесь становятся понятны многие тайны искусства сыскаря Фандорина и самого писателя Акунина. Это исторический детектив, верней сразу два в одном флаконе. В первом Фандорин ловит японского диверсанта, действовавшего в 1905 году в России, а из второго мы узнаем то, чего сам Фандорин уже никогда не узнает. Акунин в «Алмазной колеснице» умудряется совершить пируэт, похожий на то, как змея заглатывает собственный хвост.

Оказывается, пойманный Фандориным и покончивший с собой диверсант, никто иной, как родной сын самого Фандорина. Когда он еще молодым статским советником служил в качестве атташе в русском посольстве в Японии, у него был роман со знаменитой проституткой, оказавшейся ниндзя и дочерью ниндзя. Они-то оба и научили молодого сыщика всяким хитростям, благодаря которым потом ему в России не было равных. Любовница-ниндзя под конец имитировала свою смерть, чтобы Фандорин забыл о ней и она смогла вырастить без его ведома его же сына.

Впрочем, всего этого Акунин так уж прямо открытым текстом в книге не говорит, но, кое-что сопоставив, внимательный читатель сообразит сам. Акунин любит подсовывать читателю такие задачки, решение которых на многое проливает свет. Что Б. Акунин –

псевдоним, знают все. Но не все помнят, что Борисом Акуниным он стал подписываться много позже. Сперва ему было важно, что в Б. Акунине заложена ироническая усмешка, – дескать, я почти такой же анархист, каким был Бакунин, только в литературе. В сочетании с японским толкованием фамилии эта ирония звучит еще сильней.

Не все просто и с его главным героем. Как и в случае с псевдонимом, это тонкая постмодернистская игра. В своем роде литературная инсталляция: берется какой-нибудь всем известный литературный объект и видоизменяется так, что его уже не узнать. Поклонники серии французских романов о Фантомасе находят в Фандорине пародийный намек на преследовавшего Фантомаса сыскаря-репортера Фандора. Но это скорей совпадение. Тут прослеживается аналогия поинтересней, связанная с великим Чеховым.

Совершенно точно можно утверждать, что Фандорин – производное от чеховского доктора Дорна из «Чайки». Не случайно в другом историческом романе Акунина «Алтын-толобас» – о поисках таинственной библиотеки Ивана Грозного – прапрадед Фандорина называется несколько иначе – Корнелиусом фон Дорном. Да и вряд ли будет ошибкой, если я скажу, что и сам Акунин тоже весь вырос из чеховской «Чайки». Среди изданных книг Акунина есть одна, написанная им намного раньше, – это книга-перевертыш «Чайка». Открываешь ее с одного конца – читаешь всем известную чеховскую пьесу. Открываешь с другого конца – читаешь написанное уже Акуниным продолжение чеховской «Чайки». Так вот свою «Чайку» он сочинил еще до того, как начал издавать романы о сыщике Фандорине.

Суть во второй пьесе в следующем. По Акунину получается, что доктор Дорн скрыл от читателей чеховской пьесы, что Треплев вовсе не застрелился, а его застрелили. Не мог же он, в самом деле, выстрелить себе в правое ухо так, чтобы пуля вышла через правый глаз. И вот доктор Дорн начинает расследование. В результате выясняется, что мотивы и возможности для того, чтобы убить Треплева, были у каждого из персонажей чеховской «Чайки». Таким образом, утверждает Акунин, Треплева убил кто-то из его же круга. Интеллигентный Чехов об этом, естественно, даже не догадывался.

Чем расследование заканчивается, я рассказывать, наверное, не должен. Скажу лишь, что именно после того, как Акунин весьма круто разобрался с чеховскими персонажами, он неожиданно воспылал страстью к дальнейшей литературной эквилибристике. Когда-нибудь литературоведы, возможно, станут, как сегодня в романах Набокова, отыскивать в акунинских книгах намеки, параллели и заимствования из произведений бог знает каких романистов, кинорежиссеров и художников. А пока что мы читаем их как приключенческое чтиво, не догадываясь, что этот литературный ниндзя совершенно серьезно вздумал поиграть с нами в прятки, как с детьми. Хорошо хоть с Фандориным разобрались – из чеховского Дорна он превратился в Ван Дорна, затем по правилам русской речи ван перешло в фон, или прямо в фан, плюс изменилось окончание, и мы получили таким образом Фандорина.

* * *

Акунин – странный писатель. Обычно как бывает в русской литературе? Человеку хочется писать, потому что ему есть, что сказать, или, по крайней мере, лично ему так кажется. И он пишет, с мукой набираясь писательского опыта.

С Акуниным все получилось наоборот. Он из тех редких филологов-переводчиков (по специальности, между прочим, японист), которые до тонкостей изучили теорию и практику литературного ремесла и считают, что им известно, как надо писать романы. Это знание Акунину пригодилось: в трудные «годы перемен» он сообразил, что детективами можно неплохо зарабатывать себе на жизнь, и втянулся в сочинительство фандоринской эпопеи. Но беда в том, что парадоксальным образом своим даром он вскоре стал тяготиться. Это с каждой новой книгой было все заметней и заметней.

Вначале Акунин позиционировал себя как

стилизатор. Ему нравилось играть искусно воссозданными образцами чужого языка и стиля. С этого он начинал как писатель, и вроде бы небезуспешно. Вспомним хоть ту же «Чайку». Но надолго его не хватило. Он погнался за количеством и ударился в дешевую беллетристику.

Теперь своими плоскими двумерными образами и обедненным языком книги Акунина настолько напоминают примитивный лубок, что впору говорить о «новой лубочной литературе». В XIX и начале XX века среди простолюдинов, кроме ярко размалеванных досок были в ходу еще и дешевые лубочные книжки с любовными и занимательными историями. Обычно в них сокращенно и популярно излагались известные классические произведения или использовались их сюжеты. В конце XX века к этому же приему стали прибегать и постмодернисты. Но классику они использовали редко, чаще - массовую литературу, подвергая ее ерничанью или скрытому осмеянию. Так, между прочим, написана «Лолита» Набокова, о чем писатель сам же и рассказывает в авторском послесловии к роману. Но далеко не все подобные опусы постмодернистов, верней, очень немногие из них получили широкий резонанс и признание читателей.

Совершенно иная популярность и у ис-торических детективов Акунина. Наверное, потому, что они отличаются слишком уж откровенным ерничаньем, недоброй усмешкой и наряду с занимательностью преследуют еще и псевдопросветительские цели. Все приводимые писателем исторические и научные факты обычно почему-то хочется перепроверить. Читателя не оставляет подозрение, что Акунин готов соврать, не моргнув глазом. К тому же он, будучи записным либералом и поборником настроений Болотной площади, слишком уж любит, скажем так, проводить параллели с современной Россией и навязывать читателю свои рецепты, как лучше обустроить страну.

* * *

Все это присуще и написанной им как бы для детей стартовой повести серии «Жанры», тоже, кстати, с лубочным названием - «Детская книга». Только детям давать читать ее вряд ли надо. Книга производит угнетающее впечатление и вызовет у ребенка скорей отторжение, чем интерес к литературе. Даже взрослый читатель пролистывает повесть с недоумением, так и не поняв, кому она адресована. В аннотации к «Детской книге» Акунин поясняет, что задуманный им многотомный проект – это «попытка создания своеобразного инсектариума жанровой литературы, каждый из пестрых видов и подвидов которой будет представлен одним „классическим" экземпляром».

Сколько же еще книг собирается написать Акунин, если учесть, что этих «видов и подвидов», начиная с древних времен, не сосчитать на пальцах? Похоже, он замахнулся на все литературное мироздание. Так он чего доброго сочинит нам и новую «Илиаду» с «Одиссеей» и Библию в придачу. В аннотации «классический экземпляр» закавычен. Это означает, что каждый такой «экземпляр» будет a la classic, т.е. пародией на классику. Не удивлюсь, если Акунин и в самом деле однажды спародирует нам все четыре Евангелия, а там еще и пару-тройку библейских апокрифов. На радость Ватикану и римскому папе.

С другой стороны, Акунину не позавидуешь. Пародировать хорошие вещи – дело трудное и неблагодарное. Что ни говори, а пародия должна быть остроумней, изощренней оригинала – иначе дело не стоит выеденного яйца.

Так первый же блин у него получился комом: с «Детской книгой», как бы пародирующей советскую детскую литературу, вышел облом. Повесть о советском школьнике, с легкостью бабочки порхающем из одного исторического времени в другое, начинается действительно как пародия. Со сказочной фразы: «Жил-был на свете, а точнее, в столице Российской Федерации городе Москве, один мальчик, а если точнее, ученик шестого класса по прозвищу Ластик. И вот однажды, а если точнее, 29 сентября…» и дальше в том же духе. У читателя уже от этих корявых строк

– во рту оскомина. Потом с места в карьер с несчастным Ластиком начинают происходить необыкновенные чудеса.

Для ясности замечу, что Ластик – это производное от Эраста, тоже Фандорина, но не знаменитого сыщика, а его правнука, пионера, живущего в нашем недавнем советском прошлом. Его неожиданно посещает дальний родственник, профессор Ван Дорн (опять поклон Чехову!) и уговаривает поучаствовать в спасении человечества от страшных бед и потрясений. Ластик через хронодыру отправляется в 1914 год, чтобы найти Райское Яблоко (загадочный алмаз чистейшей воды и весом в 64 карата). Когда-то его потерял самый первый из рода Дорнов, тамплиер по прозвищу Тео Крестоносец. (Удивительно, что ищут не Чашу Грааля!). Так вот, это Райское Яблоко необходимо найти и изолировать от мира, иначе, если с ним что-нибудь сделать, например, попытаться огранить, произойдет страшнейшая историческая катастрофа - например, революция или мировая война. (Намек на ужасы, пережитые большевистской Россией).

Ластику удается разыскать этот проклятый кристалл, но события принимают неожиданный оборот, и главный герой попадает теперь уже в начало XVII века. Во времена Бориса Годунова, Лжедмитрия и Марины Мнишек. Тут автор упивается пронзительно написанными картинами отсталой, темной Древней Руси. Акунина несет в разнос и… его Ластик, к неописуемому своему изумлению, обнаруживает, что роль Лжедмитрия играет тоже советский подросток, чуть ли не из соседней московской школы. Только он шагнул в хронодыру несколькими годами раньше. (У читателя возникает нехорошее подозрение, что этих хрононавтов в «Детской книге» будет не меньше, чем в России было космонавтов).

Вот такую жанровую пародию на детскую литературу закатил нам Акунин. Чего только в ней ни находишь: коварных шляхтичей, кровавых крестоносцев, принцессу киевскую Анну Ярославну, ставшую королевой Франции. Вперемешку с ними иногда вспоминаются детские стишки Агнии Барто и Михалкова. А натянут весь этот сюжет на каркас сказки Алексея Толстого о золотом ключике - сюжетная схема похожая. Как призраки, витают здесь тени и папы Карло, и Карабаса-Барабаса, и кота Базилио.

Кстати, у Толстого, кроме сказки о Буратино, есть еще и фантастическая повесть «Аэлита». Ее Акунин тоже не забыл. В «Детской книге» речь не только о тайнах французских тамплиеров и квасном российском быте. После всего этого в ход идут трансмутационные пушки – о них Ластик узнает, опять перепорхнув, как бабочка, в середину нашего с вами XXI века.

Но тут фантазия Акунина то ли иссякла, то ли он решил приберечь ее для соответствующего жанра. Всерьез малолетку Ластика интересуют разве что гастрономические подробности - где что едят. Его сильно огорчает то, как примитивно питаются люди нашего будущего. Откушав их деликатесов, он испытывает острое желание вернуться в современность. Что в итоге и происходит. Ну а там с ним вообще случаются чудеса, нам, взрослым, совершенно не понятные.

* * *

Мотив порхающей бабочки в «Детской книге» неслучаен. Как и загадочный «инсектариум» в аннотации, в которой Акунин рассказывает, как подобно насекомым собирается коллекционировать «энтомологические виды и подвиды» жанров. Но дело тут не в аналогии с насекомыми. И даже не в японской танка о том, что исторические эпохи меняются, как взмахи бабочкиных крыл. Нет, это прямой отсыл к Набокову, всю жизнь увлекавшемуся энтомологией и даже составившему научный каталог бабочек. А конкретно это тонкий намек, что, дескать, в литературе Набоков тоже, как Акунин сегодня, занимался пародированием современных ему и казавшихся смешными авторов. Одним словом, Акунин, перефразируя Маяковского, хочет сказать, что он себя под Набоковым чистит, как Маяковский себя чистил под Лениным. Или что-то в этом роде. Оно верно,

Набоков пародировал… Но делал он это в сто солнц ярче и изысканней, чем делает сегодня Акунин.

Интересно, как вообще ему в голову пришла идея проекта «Жанры». Тут все просто. В фандоринском цикле Акунин своего сыщика представил нам уже во всех возможных и невозможных ипостасях. И только про детство рассказать почему-то забыл. И тогда он придумал написать эту «Детскую книгу». Именно как a la classic. Но, сказав «а», обычно хочется сказать «б». Тем более, что к тому времени он весь уже исписался и вопрос стоял круто – либо уходить из беллетристики (и терять огромные гонорары), либо придумать себе совершенно новую беллетристическую нишу. Литературную хронодыру. И Акунин придумал!..

Вслед за «Детской книгой» он в этой серии, как обещал, уже издал повесть «Квест», «Шпионский роман» и «Фантастику». А вышедший первый том задуманной им десятитомной «Истории Российского государства» – не пародия ли это на «Историю» Карамазина?

Как бы там ни было, акунинская игра в жанры продолжается. Но так ли уж она безобидна, эта игра, – задается вопросом «Лит. газета». Не случайно теперь уже бытует мнение, что нескончаемой лавиной своих жанров и литературных подвидов он вознамерился постепенно перекодировать все наше культурное сознание. Пользуясь тем, что оно стало очень уж хрупким и податливым.

Слабоумный роман Саши Соколова

Это название, можно сказать, я не придумал. Оно пришло само. Закончив читать «Школу для дураков», я еще раз взглянул на авторское посвящение. Обычно писатели посвящают свои шедевры жене, матери, любимой женщине, другу. У Соколова посвящение начинается словами «Слабоумному мальчику». Дальше – конкретное имя, фамилия и чуть ли не точный адрес. Вот и мне захотелось ответить автору тем же самым по тому же месту.

Впрочем, я вполне допускаю, что ничего плохого своим посвящением он сделать не намеревался. Просто не подумал, как это может быть воспринято.

Но начнем с начала. Читать постмодернистский и уж очень депрессивный роман Соколова мне долго не хотелось, я это сделал только сейчас. Написан он был в начале семидесятых, но опубликовать его тогда, конечно, нельзя было. Впервые роман вышел в США, когда Соколов в 1975 году всеми правдами и неправдами добился, наконец, разрешения выехать из СССР, чтобы жениться на некой австриячке.

Без этого брака – не исключено, что фиктивного (тогда так делать было модно), - он уехать из страны при всех своих биографических «регалиях» никак не смог бы.

Мытарства совка

А «регалии» Соколова таковы. Как и близкий ему по духу Виктор Ерофеев, оба они выходцы из элитных семей сталинских дипломатов. Оба потом самым нелепым образом предали не только идеалы и моральные ценности своих высокопоставленных предков, но и подставили под удар тщательно их выпестовавших отцов.

Соколов родился в Канаде. Его отец служил в Оттаве помощником военного атташе, но на самом деле являлся советским агентом, возглавлявшим группу разведчиков, которые занимались сбором сведений о производстве американской атомной бомбы. Когда пришло время сыну поступать в вуз, отец приложил немало усилий, чтобы юного Соколова взяли в Военный институт иностранных языков, готовивший кадровых разведчиков. Однако на третьем году учебы Соколов вдруг решил из института уйти и попал в военный госпиталь для душевнобольных. Считается, что он тогда симулировал психическое заболевание.

Выйдя из больницы – это был конец 60-х – Соколов успел перевестись в МГУ на заочное отделение журналистики. Но жизни в Москве ему уже не было. Работать приходилось истопником, ночным сторожем, лаборантом в морге, инструктором по горнолыжному спорту. Несколько раз Соколов пробовал бежать на Запад, но его ловили, и только благодаря влиянию родителей ему удавалось избежать заключения.

Кроме «Школы», у Соколова есть еще два романа – «Между собакой и волком» (1980) и «Палисандрия» (1985). Все это печаталось в годы перестройки в журналах «Октябрь» и «Волга». В дальнейшем, на протяжении вот уже двадцати пяти лет Соколов больше ничего серьезного не сочинил. Тем не менее он и сегодня все еще продолжает считаться «великим стилистом» и «лучшим (прозаиком. – Г.Г.) из пишущих по-русски за последние 50 лет».

Согласитесь, это настораживает: среди постмодернистов не то что великих, но и просто хороших стилистов не может быть по определению. Прочитав сейчас «Школу», я убедился в этом еще раз. Больше того, попадись «Школа» в руки начинающего читателя, я думаю, она его отвадит от чтения книг раз и навсегда. Настораживало меня и то, что Соколова называют «русским Сэлинджером», чей роман «Над пропастью во

ржи» тоже очень специфичен.

Впрочем, скорее всего Соколова многие носят сейчас на руках вовсе не за приписываемые ему литературные достоинства, а, как это у нас часто бывает, потому, что он попал в струю. Ведь его первый роман издало знаменитое издательство «Ардис», с которым был тесно связан Набоков. К тому же владелец издательства попросил тогда уже смертельно больного Набокова посмотреть рукопись и сказать что-нибудь хорошее об авторе, который не в чести у себя на родине. Сомневаюсь, чтобы Набоков стал серьезно углубляться в «Школу». Но, уловив некоторое созвучие с его собственной темой «потерянного рая» (проданная русская дача в романе напомнила Набокову о сожженном в России родовом имении), он не поленился сказать, что книга начинающего автора – обаятельная, трагическая и трогательная. Этого оказалось достаточно, чтобы рекламщики (ради успешной продажи книги) сразу определили Соколова в ученики, духовные наследники и продолжатели традиций великого мастера русской прозы. А критики тут же стали выискивать параллели между «Школой» Соколова и поздними романами Набокова. И находили их, и трубили об этом всему свету.

Представляю себе, как вначале позабавило Соколова все, что понаписали критики о его «Школе». Потом это, наверное, озадачило. И, наконец, разозлило. Вероятно, дифирамбы, связанные с автором «Ады», в адрес народившегося на свет нового гения русской прозы продолжались бы до сих пор, не заяви Соколов в интервью о том, что на самом деле ни о какой связи его с покойным писателем не может быть и речи, так как он ни одного романа Набокова тогда еще не читал.

Разделение пространства и времени

«Школа для дураков» – продукт совсем другой выпечки. С натяжкой можно, конечно, допустить, что герой Сэлинджера своей неприкаянностью и невменяемостью несколько похож на умственно недоразвитого персонажа Соколова. Но роман «Над пропастью во ржи» написан настоящим мастером американской прозы. Сэлинджер действительно хороший стилист, умело выстраивающий сюжет своего романа так, что от его книги не оторваться. Чего не скажешь о Соколове.

Как все постмодернисты, он высокомерно отказывается от того, с чем справляться не умеет. Так в одной из статей Соколов говорит, что сюжет он с детства презирал. Дескать, писать он предпочитает беспорядочно и неорганизованно, чтобы было ни о чем и в то же время как бы обо всем. Линейная проза ему всегда была противна. С представлением о времени у Соколова тоже отношения очень странные. Он утверждает, что время в его романе отсутствует. Нет там времени, есть только пространство.

Помню, как Лев Гумилев определяет, что такое смерть. Это способ существования, при котором происходит отделение пространства от времени. «Школа» буквально вся пропитана смертельной тоской. На смертельной тоске, между прочим, строится черный юмор. На черный юмор роман Соколова похож, и даже очень. В этом стиле, например, сочинены вставленные в «Школу» миниатюрные рассказы «Написанные на веранде» – так называется эта часть романа. Приведу из одного рассказа цитату, чтобы можно было представить, как это выглядит:

«Гроб повис на зубце ковша и болтался над траншеей, и все было нормально. Но потом крышка открылась, и из него что-то посыпалось. Тогда экскаваторщик вылез из кабины и осмотрел его. /…/ Ему хотелось полюбоваться на череп, потому что настоящего черепа ему ни разу в жизни не приходилось видеть, а тем более трогать руками. Правда, он время от времени трогал свою голову или голову жены и представлял, что если снять кожу со своей или с жениной головы, то и получится настоящий череп…».

Это еще достаточно вразумительно написанный фрагмент книги. Рассказы тут, в отличие от большей части «Школы», имеют хоть какой-то внутренний стержень и даже смысл. Только не понятно, зачем они вставлены в роман. Зато они по-своему даже поэтичны. Хотя это черная поэзия. Кстати, Соколов свои тексты не считает прозой, он их

называет – проэзия.

Читать Сашу Соколова, и никого другого

Все остальное содержимое книги излагается от имени героя с больным, раздвоенным сознанием – учащимся школы для умственно неполноценных детей. Он страдает раздвоением личности и потерей ощущения времени. Отсюда и авторское отрицание сюжета, и нарочитое прыганье из одной ситуации в другую, и прерывистость действия.

Тот, кто любит традиционную, классическую прозу – рационально организованную, насыщенную мыслями, образами, стилистическими фигурами, красками, интонациями – «Школе» не обрадуется? потому что ничего подобного в романе нет. Соколов со всем этим литературным инструментарием управляться не умеет. И не хочет.

У него все намного проще (или, наоборот, сложнее, кто как считает). Просто идет речевой поток и, чуть что, текст превращается в непритязательную игру в слова типа игры в названия городов, или чего-то в этом роде. Соколова, например, умиляет созвучие слов или их многозначность, когда вместо «планов на будущее» он говорит – «планктон на будущее». Ветка железнодорожная у него с легкостью превращается в ветку акации, а та неожиданно в училку Вету Акатову – сквозной образ всех его рассказов о жизни слабоумного школьника.

Очень часто, много раз на протяжении романа его герой (или все же автор?) ударяется в своего рода литературное кликушество. Неуправляемый поток речи – не путать с потоком сознания – перебивается нервическим подергиванием, топтанием на месте, как это бывает с заигранной грампластинкой, когда она прокручивается на одном и том же месте, и чуть ли ни натуральным повизгиванием. Слова беспорядочно повторяются, и тогда раздваивается сознание. Должно быть, у героя или, хуже того, с бедным автором вот-вот произойдет приступ падучей. Читать это скучно и трудно именно потому, что Соколов литературным играм со смыслами предпочитает довольно упрощенные словесные игры.

Я не говорю, что это плохо, упаси боже. Как-никак Соколов считается живым классиком советского постмодернизма, и за это многими почитается. Но что это хорошо, я сказать тоже не могу.

Кстати, для постмодернистов таких понятий как хорошо или плохо не существуют. Они предпочитают, чтобы было никак. И часто, когда читаешь «Школу», кажется, что автор именно к такому «никак» и стремится. Только у него это не очень получается.

Гораздо лучше в романе звучит скрытое (без кавычек и по памяти, как это принято у постмодернистов) цитирование читанных автором книжек разных известных писателей детской и юношеской литературы. Тут неожиданно появляются короткие проблески иронии, которой «Школе» чудовищно не хватает. Ирония, будь она повсеместной, возможно, вывела бы роман в совершенно другой ряд. А так – патологическое состояние ума, описанное патологическими средствами, вызывает впечатление нерадостное. Попади эта книга в руки тому, кому автор ее посвятил, да и любому психически неуравновешенному читателю, можно представить себе их реакцию.

«Школа» – это очень слабо, но с претензией написанный текст. Я бы его даже не стал называть художественным произведением. Это не литература, что-то другое. Интерес он вызывает в определенных кругах только как факт позиционной борьбы постмодернистов с реализмом. И, вероятно, еще как акт политического вызова государственной системе страны, из которой автор в свое время выехал.

Я посмотрел в интернете отклики читателей на роман Соколова. Они разные. Но, как мне показалось, мало кто прочел книгу до конца. А прочитавший вряд ли когда-нибудь будет перечитывать роман еще раз. Или, наоборот, – будет, но тогда только Соколова. Его одного. И никого больше.

Как француз нас на девочек развел

Попса, как ржа в металл, все яростней въедается в литературу. Все чаще лидерами книжных рейтингов становятся сексуальные смутьяны и маньяки. Например, в модном нынче у русских читателей романе «Идеаль» его автор Фредерик Бегбедер так прямо и говорит, что эта книга «предназначена вызывать у мужчин всего мира желание спать с детьми».

Прочтя столь сильное признание педофила, я еще раз с удивлением просмотрел аннотацию на последней обложке русского издания романа. Там Бегбедер преподносится как звезда французской словесности нового века. Не знаешь, кому и верить. Так получилось, что прежде чем взяться за роман, я прочел интервью, которое Бегбедер вместе со своим гуру, или, как он его называет, старшим братом, и, наверное, тоже любителем свального секса Мишелем Уэльбеком дали московскому еженедельнику «Книжное обозрение». Оба писателя в нем совершенно откровенно жалуются на обратное – что на родине их не очень любят. Поэтому, дескать, они с большим удовольствием часто приезжают в Москву – здесь их книги находят восторженный отклик.

В глубине души и тот, и другой повадились ездить в Россию в надежде, что рано или поздно какую-нибудь их книжку здесь экранизируют. Того, что каждый их новый опус оперативно переводится на русский язык и сразу выходит отдельным изданием, «братьям» уже мало. Кстати, у нас в рижских магазинах они представлены тоже богаче некуда.

Бегбедер, кстати, отличается от своего визави двумя вещами. Уэльбек поражает убожеством своих рассуждений на общие темы, «младший брат» хоть не обделен некоторым интеллектом (не путать с умом!) и… страстным желанием пококетничать, попозировать перед публикой. Нарциссизм у него в крови. Не удивительно поэтому, что он такой разный на портретах.

В «Идеале» его любовь к эпатажу проявляется буквально с первой же страницы. Кому бы вы думали автор посвятил роман? Ни за что не догадаетесь. На отдельном листе черным по белому написано простое, как мычание: «Посвящается мне!» И никаких гвоздей!

Ну а дальше эпатаж искрится и сверкает на каждой странице. Но еще больше, чем сам Бегбедер, меня лично поразил коллектив, подготовивший роман к изданию. Переводчик и редакторы. Все трое – женщины, показавшие свою полную несостоятельность по части русского языка и, конкретно, современного сленга.

Конечно, им попался трудный случай. Во Франции представители сексменьшинств разговаривают между собой, щедро используя свои специфические аргоизмы. У голубых, зеленых и розовых там хорошо подвешен язык. Чего про нас не скажешь. Русский сленг за двадцать лет либеральных реформ не демократизировался вовсе. В нем как был, так и остался сильный криминальный крен. Поэтому с этой книгой у нас все в порядке, пока Бегбедер не обращается к жаргону и молодежной лексике. Как раз этим он и демонстрирует свой особенный цинизм в наибольшей степени. Но, к сожалению, в русском переводе это звучит не цинично, а наоборот совершенно смешно. Мало того, что жесткое «мужское порно» здесь озвучено очень уж по-женски, так ведь еще и изъясняются все персонажи в русском издании романа Бегбедера почему-то либо как урки на зоне, либо как малолетки-школьники полувековой давности.

Но это еще куда ни шло. Слава богу, Бегбедер любит больше говорить от своего

имени, диалогов в его романе не так уж много. К сожалению, беда еще и в другом. Воровская феня в романе выдается как тусовской сленг модельного бизнеса. Ведь Бегбедер на пиаре собаку съел и круто замешивает текст на профессиональном жаргоне, разбавляя его множеством имен и названий. Русские издатели плавают во всем этом, как муравьи в луже, часто явно не понимая, о чем идет речь. Кроме того, известно, что Бегбедера в его французских текстах отличает от остальных литераторов-охальников его постоянная склонность к самоиронии. Вот этого – иронии – в русском тексте нет вообще. Не ясно – где, на каких этажах романа, писатель шутит, а где говорит искренне. Правильней даже сказать, издатели нам его преподносят очень уж всерьез, тогда как на самом деле у Бегбедера все гораздо тоньше и не так уж глупо, как это нам кажется. Его сюсюканье по части секса с нимфетками, его восторженные рассуждения о том, как искусно он высасывает содержимое из ртов своих Лолит, можно, конечно, воспринимать за чистую монету. Но тогда получается, что мы имеем дело даже не с маньяком, а в некотором роде с полным идиотом. Что, в общем-то, совсем не так.

Книгу свою Бегбедер, независимо от нашего отношения к ней, придумал искусно. Он продолжил старую европейскую традицию. Так, например, когда-то Даниэль Дефо, чтобы после первой своей книги не расставаться с полюбившимся читателям героем, пишет вторую о путешествии Робинзона Крузо в Россию. Бегбедер практически использует тот же прием. Герой его предыдущего бестселлера «99 франков», пиарщик и сатир, в романе «Идеаль» отправляется в Петербург и Москву на поиски смазливого личика для обложки модного парижского журнала. И попадает в сумасшедший вихрь российского распада и разврата начала 90-х годов.

Попутно он, разумеется, влюбляется в нимфетку, и все такое прочее, но… Бегбедеру этой фабулы кажется недостаточно. Все это уже было – парижане нередко становились жертвами малолетних туземок. Поняв, что двухтомник писем Гогена ему в этом не перешибить, он идет дальше. Причем, что называется, дальше уже и некуда… Малолетнюю глупыху с превосходным знанием французского языка ему в постель подкладывает… русский поп. И чуть ли даже не архиепископ.

Но и этого парижскому искусителю кажется мало. Он поворачивает дело так, будто его герой о своих педофильских похождениях исповедуется – на чем, собственно, вся книга и построена - этому попу. Причем, делает это, держа палец… на пусковой кнопке взрывного устройства. Короче - не хочу томить читателя – роман Бегбедера заканчивается тем, что этот сатир из Парижа взрывает себя в московском храме Христа Спасителя и гробит еще полтысячи душ лишь потому, что его нимфетка ушла от него к столичному олигарху.

* * *

Трудно представить себе, чтобы нечто подобное мог сочинить какой-нибудь другой европейский писатель на протяжении всей истории литературы. По части психологических пируэтов и прочих особенностей этот роман, я думаю, прекрасный предмет для анализа психиатра. Что же касается его «назначения», должен автора огорчить. Ничего, кроме отвращения по части «спанья с детьми» да и всего остального, его книга не вызывает. Набокову как автору «Лолиты» Бегбедер не соперник. Он тут ему в подметки не годится.

Я поражаюсь, насколько секс застилает глаза Бегбедеру – такое впечатление, что все это писалось под сильной дозой наркоты. Поэтому, вероятно, многие страницы, особенно в конце книги, перестают быть похожи на художественный текст и напоминают какие-то всполохи, вспышки деформированного наркотиками сознания.

И лишь местами в романе попадаются фрагменты, интересные тем, что в них описывается специфика модельного бизнеса. В остальном он перехлестывает все границы допустимого. Неудивительно, что так пренебрежительно о нем отзывается женская половина его читателей. Такое впечатление, что создателем романа двигало даже не столько

его желание научить «спать с детьми», сколько жгучее женоненавистничество. Женщина для Бегбедера вообще не человек. Отношение к ней у него исключительно потребительское, как к резиновой кукле из секс-шопа.

Но еще необычней тут другое. Сам Бегбедер считает своего пиарщика-педофила современным Родионом Раскольниковым. (Не скажи он этого в том же интервью, я бы ни за что не догадался). Бегбедер говорит, что писал роман, как Достоевский свое «Преступление и наказание». Правда, с целью вывернуть его наизнанку. Все показать наоборот. Если Раскольников «замочил» старуху-процентщицу, а потом искал спасения в православной идее, то здесь все шиворот-навыворот. Вплоть до того, что надо разрушить православный храм. И не какой-нибудь, благо в Москве их много, а именно ставший для русских в последние годы чуть ли ни официальным символом веры. И чтобы побольше было жертв! Чтобы случилась народная трагедия! И ФСБ приплести туда же, и МЧС, и прочие аббревиатуры, имеющие для москвичей общественное значение.

По сути, роман этот написан – что становится ясно уже в самом конце – как уголовное дело о (вымышленном) взрыве храма Христа Спасителя. Главы, эсэмески и блоги бесчисленных любовниц героя приводятся здесь как материалы следствия. Жаль, конечно, что в русском переводе утеряна ирония. В оригинале «Идеаль», может быть, вообще звучит как предупреждение, как пророчество. Неслучайно в финале, на отдельной странице, автор неожиданно приводит фразу Солженицына – может слишком громкую, как и все в романе, но процитировать ее хочется: «Если опыт XX века не послужит человечеству должным уроком, то в будущем кровавый смерч рискует повториться с новой силой».

Только Солженицын, мне кажется, все-таки имел в виду что-то гораздо большее.

Над кем смеется Мона Лиза

Век только начался, а уже отовсюду звучало – прочтите книгу века, купите книгу века. Немало таких «книг века» будет еще написано. Этот титул, как эстафетная палочка, переходит от одного писателя к другому. Сегодня его заслужил роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Потому что он - об одной из главных проблем, которую нам предстоит решить в нынешнем столетии: кто будет править на планете, мужчина или женщина.

Дэн Браун в «Коде да Винчи» написал о том, чего всегда боялась касаться христианская церковь. О том, что Христос, оказывается, вовсе не был бобылем, как и Мария Магдалена не была проституткой. Между ними была любовь и брак, и даже родилась от этого брака девочка, которую после казни Христа Мария увезла в Западную Европу, и теперь, как считают некоторые историки, во Франции живут ее потомки. Как вам такая версия Нового Завета?

Почему распяли Христа

Церковники, в частности, католическая церковь, естественно, обрушили на Брауна и гром, и молнии, а судебный процесс не затеяли лишь потому, что боятся его проиграть. Да и все свои тайны выносить наружу им тоже не хочется. Тем более, что Браун, как праведный христианин, лишь приоткрыл над ними, этими тайнами, краешек завесы. Судьи затребовали бы большего.

Задачей Брауна было только показать обоснованность того, что мужская цивилизация может сдать свои позиции и вернуть «похищенную Европу» тем, у кого ее отняли. Браун всего лишь нам напомнил, что христианская церковь – и даже не сама церковь, а те, кто стоит за ней, кому это было выгодно, – на заре своего существования затоптала в грязь феминистический культ, превратив Марию Магдалену из венценосной супруги в проститутку, а самого Христа в бестелесное существо.

Культ богини, а не бога строили зачинатели христианской веры вместе с Христом, и еще вопрос, из-за чего или, верней, – во имя чего он был распят. Существует предположение, что произошло это только потому, что его ученики не захотели, чтобы он предпочел женщину. Поэтому сначала будущие апостолы христианской церкви принесли в жертву своего учителя, а несколько позже устами Папы Римского было засвидетельствовано, что «великая грешница» Мария Магдалена покаялась и приняла божественность Христа как истину. В результате вместо Магдалининской церкви, как это, вероятно, планировалось Христом, человечество получило христианскую церковь.

Только утвердив христианский культ, церковники поверили в свою силу. А все свидетельства о том, что Мария Магдалина была супругой Христа и что, по его замыслу, именно она должна была стать главой новой церкви, апостолы скрыли, упрятав их как великое сокровище и назвав Святым Граалем. Хранить эту великую тайну поручили секретной службе Ватикана – Приорату Сиона, члены которого «по истечении дней», т.е. определенного времени, сами должны были принять решение, можно придать эти документы огласке или нет. Возможно, под тем, что церковники называют теперь Страшным судом, и подразумевается тот срок, когда обесцененное и потерявшее силу нынешнее христианство должно пережить второе рождение, использовав для этого обнародование Святого Грааля. С другой стороны, ватиканские фанатики, католики-иезуиты создали опять же свою секретную организацию – «Опус Деи». Ее боевикам предписано выслеживать служителей Приората Сиона и уничтожать их.

Книга тайн и открытий

Роман «Код да Винчи» как раз и рассказывает о судьбе последнего хранителя тайны Грааля, известного куратора Лувра, который погибает уже в наши дни от руки боевика из «Опус Деи», и о том, что происходит дальше с Граалем. Кстати, при чем тут великий ученый Леонардо да Винчи? А при том, оказывается, что да Винчи тоже был одним из великих хранителей тайны Грааля и в своих картинах пытался иносказательно передать ее смысл и суть.

Браун написал свой интеллектуально-детективный роман так, как писались книги на заре книгопечатания. Литература вообще возникла когда-то давно вовсе не для развлечения скучающих бездельников или любительниц любовных историй. Она была придумана как универсальное средство тайнописи. В литературных произведениях, особенно поэтических, кодировались секретные, или, как они еще называются, эзотерические знания для передачи их таким образом потомкам. Если рыцари-тамплиеры стерегли и часто перепрятывали Грааль, то передачей эзотерических сведений, используя художественную литературу, занимались их последователи розенкрейцеры (роза – тайный знак Грааля). Этим методом пользовались да Винчи, Бэкон, Шекспир и многие другие до них и после них.

Говорят, что даже Гюго, тоже причастный к тайне Грааля и священного культа богини, в свои произведения закладывал вот эту интеллектуально-мистическую «взрывчатку», рассчитывая, что подспудно, подсознательно она станет достоянием его читателей. Кстати, совсем не случайно под классической литературой до сих пор подразумевается именно та литература, которая, кроме конкретного смысла, заключает в себе большое количество информации нравственно-философского содержания.

Кто управляет миром

Роман «Код да Винчи» мы к классике пока еще причислять не можем, но и он, помимо художественных достоинств, тем и замечателен, что, кроме увлекательного, ловко закрученного детективного сюжета, содержит многое другое. По сути, он посвящен поискам Грааля, но совершенно в новом, современном антураже. Во-первых, это показано через призму идейных взглядов Леонардо да Винчи. В их основе лежит не христианство, а «женская религия», раннехристианский культ женщины как носительницы божественного механизма возрождения человеческого рода. Этот культ приравнивал мужчину к женщине (а не наоборот), то есть делал его посвященным в тайны естества лишь после того, как тот проходил посвящения в ритуал продления рода человеческого. Отсюда потом пошла традиция, с одной стороны, рыцарского поклонения Прекрасной Даме (вспомним Блока, тоже исповедовавшего этот культ), а с другой стороны – превращение через половое созревание юноши в мужчину. Впрочем, обе эти традиции – лишь отголоски «женской религии» да Винчи, потому что при всем своем поклонении перед женщиной мужчина в обоих случаях доминирует.

Во-вторых, из всех имеющихся на сегодняшний день литературных историй Грааля эта не только наиболее популярно изложенная, но и самая всесторонняя. Не столько даже по части конкретных фактов и деталей, сколько с точки зрения их смысла и значения. Другими словами, Браун, как в свое время да Винчи, но с поправкой на время и несколько иными способами стремится посвятить читателя в тайны Грааля, рассказать то, что удалось уже выяснить историкам.

Получается, что детективная интрига для него всего лишь прием, чтобы привлечь внимание читателя к интеллектуальной информации. Не случайно, когда читаешь роман, все время чувствуется, что все, касающееся Грааля, ему известно лучше и подробней, чем практика полицейского расследования уголовных преступлений. Роман Брауна ко всему прочему еще и

прекрасный путеводитель по тем местам, которые он описывает. И замечательный комментарий к живописным работам великого да Винчи, особенно к его «Тайной вечере» и «Моне Лизе». А над чем смеется Мона Лиза, я думаю, ясно. Над теми, кто две тысячи лет пытается скрыть настоящий смысл учения Христа. Над теми, кто не хочет замечать, что миром, как ни крути, всегда правили и правят женщины, и рано или поздно это станет более чем очевидно. Не зря многие считают, что своим романом Браун, по сути дела, концептуально оправдывает происходящую сегодня феминизацию человечества.

В поисках Шекспира – последний фигурант

Тайна Шекспира – кто и почему скрывался за этим именем – наверное, никогда не будет разгадана. Но даже если это произойдет, и мир, наконец, узнает имя настоящего автора шекспировских пьес и сонетов, все равно книги великого барда не исчезнут с наших полок. Они будут издаваться, как прежде. Изменятся только предисловия и комментарии.

О Шекспире написаны горы книг, но самые интересные стали появляться в последнее время. Не так давно вышел и настоящий научный триллер российского ученого Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса».

В принципе Гилилов как будто ничего нового не открыл. Уже давно было высказано предположение, что за именем Шекспира мог скрываться его современник-аристократ граф Рэтленд. Он слыл человеком блестяще образованным и был близок к королевскому двору. С другой стороны, всем также известно, что сам Шекспир, хоть и был актером, едва умел писать. И ничем, кроме сцены, никогда не увлекался. Литература, путешествия, политика и наука его не интересовали. Шекспир, по мнению многих исследователей, был необразованным провинциалом. Его дочь, что для популярного драматурга совсем уж невероятно, вышла замуж, не зная грамоты. У самого Шекспира, по свидетельствам современников, дома не было ни одной книги. Вот эти факты его биографии и заставили исследователей выдвинуть версию о мистификаторстве, после чего число претендентов на авторство «Гамлета» и «Отелло» очень скоро перевалило за полсотни. Фаворитами в этом списке до последнего времени считались двое – упомянутый граф Роджер Меннерс Рэтленд и английский философ-ученый Фрэнсис Бэкон.

Женский след в сонетах Шекспира

Заслуга Гилилова лишь в том, что он тесно увязывает эти персоны вместе и вводит в обиход еще пару имен из их окружения. Гилилов отстаивает версию коллективного авторства произведений Шекспира.

В пользу такой версии говорят, между прочим, и все известные науке биографические сведения о Шекспире и Рэтленде. Некоторые исследователи любят утверждать, что сохранилось мало фактов из жизни Шекспира. Это ловкая уловка – сведений о нем столько, что они займут десятки страниц. Беда в том, что ими никак не объяснишь ни гениальность Шекспира, ни хронологию создания пьес, ни круг раскрытых в них тем и мотивов. Факты из его жизни не стыкуются с историей творчества и даже входят с ней в противоречие – вот в чем вся проблема. Этот феномен объяснить невозможно, тогда как тут все удивительно точно совпадает с биографией Рэтленда.

Примерно то же самое лет двадцать назад стал доказывать и наш земляк, человек широкого склада ума, профессиональный латышский физик и одновременно филолог-шекспировед Юрий Бирзвалкс. Блестяще владея английским и староанглийским, Бирзвалкс разрабатывал свою версию сразу в двух направлениях. Он заново переводил на

латышский язык сонеты и писал к ним на русском языке комментарий.

Почему на русском? Бирзвалкс считал, что так их легче будет опубликовать. Тем более, что с научной точки зрения они были в известном смысле диссидентскими. Во-первых, Бирзвалкс, как и Гилилов, склонен был «считать Шекспиром» в первую очередь Бэкона, а во-вторых, он, переводя сонеты, отбросил «голубой флер» (ведь некоторые до сих пор предполагают, что Шекспир имел любовника). И, вопреки распространенному мнению, доказывал, что они посвящены не «другу», а все же даме. Хотя другой вариант он допускал тоже, но связывал с тем, что часть сонетов скорей всего вообще написаны женщиной. Бирзвалкс считал, что сочиняли их трое – сам Рэтленд, его жена Елизавета Сидни и ее тетка Мэри Сидни. Об этом же пишет и Гилилов.

Мистически закончилась жизнь Бирзвалкса. Я с ним познакомился за пару недель до того, как его сбила машина. Многие это увязали с высеченной на могильном камне Шекспира надписью: «Кто попытается раскрыть тайну моей жизни, умрет трагической смертью».

Бирзвалкс подошел к разгадке этой тайны вплотную. Кстати, сонеты в его переводе на латышский язык вышли, а вот комментарии к ним до сих пор не опубликованы, и это печально. Получается, что первым о «коллективной версии» высказал мнение не Бирзвалкс, а Гилилов. Он же назвал этот коллектив Бельвуарским кружком поэтов (по названию родового замка Рэтлендов).

Этот загадочный граф Рэтленд

Рэтленд действительно был незаурядной личностью. Закончил Кембриджский университет. Был магистром искусств. Владел многими языками. Совершил путешествие по Европе и побывал, кстати, именно в тех городах Италии, которые фигурируют в пьесах Шекспира. (Как известно, Шекспир вообще никуда не ездил). Юный Рэтленд пережил в Италии бурный любовный роман и хотел даже жениться на девушке из знатного рода. Но семья невесты агрессивно воспротивилось их браку. Не эта ли история легла в основу «Ромео и Джульетты»?

Вернувшись в Англию, молодой граф примыкает к партии Эссекса. С тех пор Эссекс становится кумиром Рэтленда и (что вполне наглядно доказывает Бирзвалкс) делается героем многих сонетов Шекспира.

Собственно с этого у Бирзвалкса все и началось. Начав переводить сонеты на латышский язык, он обратил внимание на странное посвящение, помещенное в начале их первого английского издания. Кто знает староанглийский, должен заметить здесь скрытый каламбур. Эти строчки почему-то всегда переводились слишком буквально, отчего смысл их затуманивался. Бирзвалкс увидел здесь даже не простой, а двойной каламбур, из которого и следует «двойное авторство» – одно мнимое (это Шекспир), другое настоящее, указывающее на Рэтленда.

В своих комментариях Бирзвалкс говорит, что, хорошо изучив все обстоятельства жизни графа Рэтленда, он пришел к выводу, что предположения о гомосексуальных мотивах в сонетах – полный вздор, нелепица, результат неверного понимания того, кому они посвящались. Подавляющую часть написанных Рэтлендом сонетов (если предположить, что все они все-таки сочинены им одним, без женского участия), граф посвятил своей жене Елизавете Сидни, в замужестве – леди Рэтленд. Другую часть – человеку, которого он очень почитал, преклоняясь перед его умом и мужеством, и сподвижником которого считал себя,- графу Эссексу. Таким образом, получается, что наличествующие в сонетах «близкий друг» – это Эссекс, любимая женщина – Елизавета Сидни, а лирический герой – сам Рэтленд.

Секреты тайных обществ

Гилилов к такому же раскладу лиц, связанных с сонетами, подходит тоже очень близко. Вообще его книга «Игра об Уильяме Шекспире» наверняка заслужила бы Нобелевскую премию, доведи он свою версию до конца, что называется, до последней

тайны. Т.е. если бы он убедительно объяснил, почему Рэтлэнд и остальные свое авторство скрывали.

К сожалению, он это объясняет только лишь игрой – так, собственно, и названа книга. Или другими словами – склонностью графа и его окружения к мистификаторству, которое в то время действительно было в моде. К тому же не надо забывать – и это веский довод – что, как известно, литературный труд тогда еще не был престижным делом.

Однако, на мой взгляд, здесь сильно дает себя знать профессиональная зашоренность филолога. Займись Гилилов вплотную историей тайных обществ, и «проблема Шекспира» во многом бы прояснилась. Тем более, что Гилилов был к окончательной разгадке очень близок. Ведь он и сам роняет вскользь фразу, что деятельность Бельвуарских сочинителей носила в чем-то характер законспирированной организации. Причем настолько, что – как выяснилось позднее – даже знавший обо всем этом король Англии Яков I и близкое к Рэтлендам окружение (и, кстати, сам Шекспир тоже) клятвенно хранили эту тайну до гробовой доски.

Хотя перебарщивать тут не надо тоже. Тайна тайной, но никто ее не собирался раскрывать еще, наверное, и потому, что современникам вся эта история ничем существенным и важным не казалась. Никто ведь тогда сочинителя драм, трагедий и сонетов Шекспира великим не считал.

А мы секрет раскроем

Все начинает проясняться, если вспомнить опять о Бэконе, – о том, кем он был. А был он не просто ученым и философом, но к тому же еще и членом засекреченного братства розенкрейцеров. И занимал в нем очень высокое положение. (Поясню для тех, кто не знает: общество розенкрейцеров образовалось вскоре после разгрома рыцарей-тамплиеров. Розенкрейцеры унаследовали от рыцарей их тайну Святого Грааля. Затем из розенкрейцеров вышли современные масоны).

«Не подлежит сомнению, что именно Бэкон – автор драм Шекспира» - утверждает и светило современной науки Умберто Эко в своем романе о мировой закулисе «Маятник Фуко». Правда, говорит он это (на всякий случай) не без иронии. И тут же, для аналогии, приводит чью-то другую версию о том, что и «Дон Кихот» тоже написан Бэконом. А Сервантес, дескать, по просьбе того же Бэкона, всего-навсего перевел роман на испанский. Ну и заодно назвался автором.

Что касается «бэконовской версии» (относительно Шекспира), она многими давно принимается как истина. Еще в 20-е годы ее основательно доказывал американский историк Мэнли П. Холл (см. его переизданную в 90-х годах книгу «Энциклопедическое изложение масонской, герметической и розенкрейцеровской символической философии»). В частности, Холл был первым, кто в качестве аргумента использовал прием наложения один на другой портретов Бэкона и Шекспира. Совпадают идеально.

Бэкон известен как человек не просто образованный, но и посвященный в те самые эзотерические тайны, которые теперь все чаще обнаруживаются в пьесах Шекспира. Объяснить это можно тем, что Бэкон по своему положению в братстве розенкрейцеров должен был выполнять совершенно определенную работу. Считается, что в его обязанности входило оставить потомкам литературное наследие с закодированной информацией. И в этом нет ничего необычного. Так в старину возникали многие гениальные произведения тех, кого в розенкрейцеровской традиции называют «посвященными».

Некоторые историки не исключают, что точно так же, например, появились многие книги арабской поэзии и почти весь восточный эпос. Более того, к ним относят даже Библию, а из более поздних литературных шедевров – «Фауста» Гете. Другое дело, что мы этого всего «не проходили» и что это настолько спорно и недоказуемо, что кажется сомнительным. Но традиция такая существовала (родилась она задолго до тайного братства, в котором состоял Бэкон) и, между прочим, некоторыми авторами продолжается до сих пор. Суть

ее в том, чтобы в художественную форму облекать не только нравственную, этическую и историческую информацию, но и научную, по каким-либо причинам не подлежащую прямой, открытой передаче.

Семейный подряд

Гилилов как ученый-материалист, не колеблясь, все это оставляет за бортом. Единственное, о чем он говорит прямо, – что, кроме всего прочего, была еще некая игра в литературу. Поэтому очень может быть, что Бельвуарский кружок сочинял сонеты, а Бэкон под его прикрытием кропал «тайные» драмы и трагедии. И все это подписывалось именем Шекспира, которому за молчание и участие в игре, как установил тот же Гилилов, платили денежку.

Возникает, правда, вопрос – при чем тут все же Бэкон? Так вот, оказывается, что как раз он тут при чем больше, чем кто-либо иной. Бэкон, когда Рэтленду исполнилось двенадцать лет, был взят в родовой замок его учителем и наставником. И тут начинается самое интересное. Главный контраргумент противников «версии Рэтленда» заключается в том, что юному графу, когда появились на свет первые пьесы Шекспира, было только 15-16 лет. Не мог он, дескать, сочинить их сам в столь юном возрасте. Но… ведь не исключено, что писал их Бэкон.

Можно допустить, что Бэкон сознательно воспитал своего ученика в традициях розенкрейцерства, и потом уже юный граф счел своим долгом приобщиться к делу учителя и тоже активно занялся сочинительством все под тем же именем Шекспира. А вместе с Рэтлендом этим тайно занимался и весь Бельвуарский кружок.

Авторство свое Рэтленд скрывал по двум причинам. Во-первых, вероятней всего, он все-таки был не единственным автором (текстологи находят этому все новые и новые доказательства), а во-вторых, их творчество не считалось тогда оригинальным. В том смысле, что они часто не придумывали сюжеты, а заимствовали их у более ранних авторов. Иными словами – свободно пересказывали на свой лад уже существовавшие произведения. С единственной целью – заложить в них нужную информацию.

Странный брак

Такая версия делает объяснимыми и другие странности. Например, то, что некоторые произведения Шекспира, скажем, поэма «Феникс и голубь» или, например, «Буря», появились уже после смерти обоих потенциальных авторов. Кружок-то продолжал существовать. Или совершенно загадочные похороны обоих супругов Рэтлендов и вообще все, что связано с их судьбой, начиная с фиктивного брака.

Но имеются свидетельства, что между ними никогда не было интимной близости. Так что не исключено, что объединяло их чуть ли ни одно только «шекспировское дело». Есть даже предположение, что и яд, которым отравилась супруга Рэтленда, она приняла согласно розенкрейцеровским традициям. Это похоже на истину, тем более, что когда позже вскрыли могилу, оказалось, что там вообще были захоронены другие люди.

И это тоже было в традициях розенкрейцеровского братства. Ведь с Бэконом, спустя десять лет, произошла примерно такая же история. Считается, что его болезнь и смерть были ложными. А все дело в том, что у розенкрейцеров было принято имитировать свои похороны, дабы потом под новым именем, в другой стране и в новом амплуа продолжить служение тайному братству. Бэкон, например, как предполагают исследователи, в новой ипостаси отправился жить в Германию.

Все это, конечно, мы сейчас воспринимаем как нечто странное, «на грани фола». Мы слишком прагматичны не только для того, чтобы поверить в подобные мистификации, но и чтобы понять, чем и как люди жили в том отдаленном прошлом. Тем не менее загадочная связь между Шекспиром и графом Рэтлендом, между ученым Бэконом и братством розенкрейцеров существует. Ее можно не замечать и не учитывать, как это и делают сегодня большинство исследователей

произведений великого классика. Но вряд ли это поможет нам лучше понимать, о чем написаны его драмы и трагедии.

Новый претендент на звание Шекспира

К сожалению, шекспироведы, вместо того, чтобы всерьез заняться современным толкованием шекспировских шедевров, больше заняты поисками очередных претендентов на их авторство. Так, например, недавно на русском языке вышла еще одна книга английских шекспироведов Бренды Джеймс и Уильяма Д. Рубинстайна «Тайное станет явным. Шекспир без маски».

В ней выдвигается совершенно новая версия – что под именем Шекспира скрывался известный в Англии политик и бизнесмен сэр Генри Невилл. Он получил блестящее образование в Оксфорде, был богат, владел поместьями и чугунолитейным заводом, много лет подряд избирался членом парламента и занимался науками. В конце жизни он даже успел выступить в роли политика и предпринимателя, вдохновлявшего экспансию Великобритании на американский континент. А на досуге этот занятой человек, оказывается (в смысле – будто бы), писал в свое удовольствие пьесы и стихи под именем Шекспира.

Любопытная деталь – кроме всего прочего, сэр Генри был свояком Френсиса Бэкона и дальним родственником самого Шекспира. Таким образом, загадка, кто был Шекспиром, стала теперь на одного персонажа сложней.

Версию эту можно было бы не брать в голову, т.к. у нее нет прямых доказательств. Почему, собственно, шекспироведы и не беспокоили до сих пор своими предположениями дух Генри Невилла. Но, с другой стороны, как это ни парадоксально, именно сия кандидатура теперь выглядит самой подходящей.

Такая мысль впервые возникла у Бренды Джеймс, когда она случайно стала читать личные, а потом и дипломатические письма Невилла. Лексический аппарат и синтаксические конструкции ей неожиданно напомнили шекспировский язык. Дальше было больше. Она стала сличать биографию Невилла с общепринятой хронологией шекспировских пьес, поэм и сонетов. И тут оказалось, что годы жизни и деятельности Невилла, а еще и его поездок по Европе – он очень много ездил студентом, да и потом на протяжении всей своей жизни – один к одному совпадают с датировками произведений Шекспира. И даже… объясняют, почему, из каких политических или личных побуждений они были написаны.

И жнец, и на дуде игрец

Вообще относительно фигуры Шекспира сомнения в его авторстве имеют два суперсерьезных момента. Можно на все закрыть глаза – на его необразованность, бедность, узость взглядов и интересов, на откровенную провинциальность, и как-то все это постараться объяснить. Но никак нельзя объяснить две вещи. Во-первых, блестящее знание юриспруденции. И второе – это, пожалуй, самый главный аргумент против Шекспира – он никуда не ездил, не владел никакими языками, кроме английского, и не имел склонности к чтению книг. Тогда как, повторяю, все написанное Шекспиром напротив свидетельствует об обширной географии его путешествий по Европе и о хорошем знании книг античных авторов. Причем, как показали исследования, книги эти тогда еще не были переведены на английский язык. Значит, они были прочитаны в оригинале, чего сам Шекспир сделать не мог.

Генри Невилл, наоборот, был человеком очень подкованным в юриспруденции. В парламенте ему приходилось разрабатывать законы и курировать различные дела, требовавшие знаний не только местной, но и международной юрисдикции, и самому лично участвовать в заключении различных сделок. Что касается языков и античной литературы, известно, что Невилл свободно читал в

оригинале и латинских, и древнегреческих авторов и имел богатую библиотеку. Кроме того, во всех городах, которые фигурируют в произведениях Шекспира, Невилл побывал лично и не раз, что подтверждают его письма. Остается еще один, сакраментальный вопрос: почему Невилл взял имя своего дальнего родича Шекспира и за что якобы платил ему немалые деньги? Впрочем, даже не в этом дело: известно, что членами парламента занятие литературой тогда не практиковалось и, главное, не приветствовалось. Гораздо серьезней – почему Невилл позже, уже никак не связанный с парламентом, так и не пожелал раскрыть свое авторство? Ответ на это исследователи дают вроде бы простой. В «шекспировском» наследии слишком многое было завязано на политике того времени. И если бы стало известно, что все это написал Невилл, ему не сносить головы. Страх разоблачения его преследовал до самой смерти. И еще он знал, что такая же опасность грозит его наследникам. Единственное, чего Невилл тогда не знал, что через многие десятилетия его имя политического деятеля канет в лету, тогда как автор написанных им произведений станет, пожалуй, самым известным человеком в мировой культуре.

Подписное агентство PKS

Обеспечивает круглогодичное оформление и доставку Альманаха “Русский мир и Латвия”.

Произвести заказ на текущую подписку и заказать предыдущую подборку изданий Альманаха можно на сайте Подписного агенства PKS www.pressa.lv.

Стоимость абонемента на 2020 год: по Риге - 40 евро в год, по Латвии - 50 евро, по Европейскому Союзу - 70 евро, в другие страны мира - 85 евро.

Центральный офис “Abonešanas aģentūra PKS” SIA

Адрес: Академияс пл., д.1-141, Рига, Латвия LV-1050
Телефон/факс: (+371) 67320148, (+371) 67509742
e-mail: media@apollo.lv, agenturapks@gmail.com

www.pressa.lv